

УРАЛЬСКИЙ СЛЕДЮЩИЙ УРАЛ STALKER 1/93

ISSN 0134—241X

18, rue du Dou — Editeurs — Paris

JULES VERNE
30 VOLUMES IN-8
Paris, 257, 50
COTTEVAUX, 328
BIBL. 953 F

Etrennes 1889

FAMILLE SANS NOM
J. VERNE
UNIVERSITÉ
de Paris
N° 17
1883

Voyages Extraordinaires

Couronné par l'Académie
Œuvres Complètes

Volumes grand in-8 illustrés

1 Le Chemin de France	12 Le Tour du monde en 80 jours	20 Deux Ans de vacances
2 Babar le Congrément	13 Le Docteur Ox	21 Nord contre Sud
3 En Billet de Loterie	14 De la Terre à la Lune	22 La Jarigola
4 L'Étoile du Sud	15 Autour de la Lune	23 Michel Strogoff
5 L'Archipel en feu	16 Voyage au centre de la Terre	24 Un Capitaine de quatre ans
6 L'Écoute des Espions	17 Cinq semaines en ballon	25 Les deux frères sous les mers
7 Le Rayonvert	18 Aventures de trois Anglais en Chine	26 Le Pays des Étonnements
8 Les Millions de la Begum	19 Une Ville flottante	27 Karakoum-Tché
9 Tribulations d'un Chinois		28 Le Maître à vapeur
10 Les Indes-Noires		29 Hector Servadac
11 Le Chancelier		30 Aventures de Capitaine Hatteras

Deux ouvrages illustrés en 3 tomes. Prix: broché, 12 fr. relié, 16 fr.

Broché 10 fr. relié 12 fr. 50. 15 fr. 50.

31 Les Échecs du Capitaine Grant

32 Mathias Sandorf

33 Le Mystère de Géographie de la France

Le Découverte de la Terre. Les premiers Explorateurs. Les grands Explorateurs du XVI siècle. Les Navigations du XVI siècle.

VERSANT ET J. STARR — Les Voyages au Théâtre. (Paris, 1880)

1889



СОБОР ОСИНСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Владимир РУСАНОВ

В одно погожее утро 1931 года на площади перед Троицким собором старинного городка Осы, что в Пермской области, выявилась группа молодых людей. Они шли строем и пели: «Тяжка с мамкой молотуся, а дети комсомолотуся...» Группу возглавлял директор местных мастерских товарищ Маркин. Перед ним стояла задача — покончить с Троицким собором, главным очагом мракобесия в районе. Еще год назад власти закрыли храм, и службы в соборе прекратились.

Комсомольцы выбросили из здания все, что могло гореть: старинные книги, резные хоры из кипарисового дерева, иконы... Выломали и вышвырнули иконостас.

В 1915 году его сработали осинские мастера, потом доски будущих икон отправили в Москву. Там их расписывал художник Шварев. Иконостас обошелся в немалую по тем временам сумму: 6617 рублей — из пожертвованных осинцами денег. Жертвовали все: люди позажиточнее — рублями, победнее — копейками, купцы — сотнями. Наследники купца Чердынцева, например, отвалили две тысячи рублей.

Имущество собора скидали в кучу, облили керосином, и через минуту все было охвачено пламенем костра. Дым поднимался высоко вверх, напоминая языческое жертвоприношение. На тротуаре у Дома колхозника стояла толпа зевак.

Вскоре и колокола полетели на паперть — по ее камням разбежались трещины.

— Отмаялись, сердешные! Прости нас, господи! — произнес кто-то в толпе.

Вскоре к зданию собора прикатил «Филипп Петрович» — так местные остроловы прозвали трактор «Фордзон-путилорец». Сшибать кресты полез лично товарищ Маркин в сопровождении молодого литейщика из мастерских. Накинули петлю из цинкового троса. Трактор взревел, поднатужился, однако его сил хватило, чтобы только согнуть крест. А ведь это был один из малых куполов. На главном же высился крест весьма значительных размеров. Задание, поставленное перед товарищем Маркиным, казалось невыполнимым.

Как быть? Через старожиллов установили, что крест водружал на соборе золотых дел мастер Георгий Васильевич Седоусов. Где он? Оказалось — совсем рядом, в катажке, которая находилась в одном из угловых зданий соборной площади. У Седоусова вытряхнули драгоценности. В те времена это было просто: осерчал кто-то на кого-то, шепнул куда надо, мол, при царе-батюшке был портным или там купчихам модные туфельки шил, а потому наверняка имеет золотишко... И все — спецкомиссия найдет что угодно.

Подкормили Седоусова, отпустили домой, сказав, что придут за ним наутро, пусть подумает, как снять кресты.

Георгий Васильевич провел бессонную ночь. Память услужливо воспроизвела картину, как он ставил кресты — вся Оса видела! Сделаны они были из листовой меди толщиной в полторы линии¹. Дома у него хранился пригласительный билет — открытка 1916 года с рисованным изображением Троицкого собора. Текст на обороте гласил: «Его преосвященством, Просвещеннейшим Андрони-

ком, Епископом Пермским и Соликамским, 16 июня сего года в г. Осе имеет быть произведено освящение нового каменного соборного храма во имя Святой Троицы, строящегося 14 лет...» Открытки отпечатали осинская типография И. А. Кузнецова.

На освящении храма Георгий Васильевич был почетным гостем. А накануне состоялся крестный ход, в котором участвовали жители из соседних сел Осинского и Оханского уездов.

Нет, заpirаться ему бесполезно. Да и в катажку возвращаться очень не хочется.

Наутро Георгий Васильевич показал: как надо разбирать кресты. Два парня с отвертками в руках моментально сбросили их без всяких «Фордзонов». Из листовой меди ребята с электростанции делали добротные ножи для рубильников.

Однако храм и без крестов был виден издалека. Его грандиозное здание, построенное по проекту пермского архитектора Александра Турчевича, все равно оставалось главной достопримечательностью городка. Изумляла резьба каменных стен, узорчатые наличники и кокошники многочисленных окон. Осинцев по привычке так и тянуло к теремному крыльцу главного входа, подпираемого кирпичными колоннами, точно выточенными из дерева.

Некоторые ретивые товарищи требовали снести собор. Ведь он своим видом напоминал недавно взорванный в Москве храм Христа Спасителя. «Пример столицы надо поддерживать!» Более осторожные возражали: обломки взорванного собора завалят всю площадь и ближайшие улицы. Полностью убрать их будет очень трудно.

Решили Троицкий собор пока не разрушать. Из храма сделали музей, потом — зернохранилище. Долгие десятилетия здание пустовало. В 30-40-е годы вокруг поднялись непроходимые заросли репейника, паслись козы, овцы... В военную пору собор удивлял красотой эвакуированных из западных районов страны. Они называли храм «собором осинской Богоматери».

В 60-х годах недостроенную колокольню ответили под общежитие для студентов сельскохозяйственного техникума. Однажды оно сгорело, и в образовавшееся пространство провалилась одна из башен, лишенная опор...

Одно время в части собора с главным входом помещалась автобусная станция, но вскоре открылось специально построенное здание автовокзала, и собор снова осиротел.

В наше время городские власти попытались реставрировать Троицкий собор. Ему удалось придать благородный вид, но на большее городу не хватает средств. Неумолимое время продолжает разрушать красоту, а ведь таких жемчужин в Прикамье остались единицы.

Свой гонорар за статью автор передает в фонд спасения храма.

Слайд Олега КАПОРЕЙКО

КТО ЗАХОЧЕТ
ПОМОЧЬ
ТРОИЦКОМУ
СОБОРУ В ОСЕ,
ДАЕМ АДРЕС:

618120, г. ОСА
ПЕРМСКОЙ обл.,
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ.

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
№ 000142213,
РОССЕЛЬХОЗБАНК,
г. ОСА,
МФО 185237.

¹ 1 линия — 1/10 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.

УЧРЕДИТЕЛИ —
Союз Писателей России,
Ассоциация советских
книгоиздателей,
трудовой коллектив журнала

ИЗДАТЕЛЬ —
Издательство
«Уральский следопыт»

Журнал основан в 1935 году,
возобновлен в 1958 году.

РЕДАКЦИЯ:
Станислав Мешавкин
(главный редактор),
Виталий Бугров,
Юний Горбунов,
Сергей Григорьевич
(главный художник),
Герман Иванов
(заместитель главного
редактора),
Юрий Липатников,
Ольга Нагибина
(исполнительный директор),
Андрей Понизовкин,
Юрий Шинкаренко,
Нина Широкова

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Виктор Астафьев, Сергей Казан-
цев, Владислав Крапивин, Юрий
Курочкин, Николай Никонов,
Олег Поскребышев, Борис
Стругацкий, Марат Шишигин

Адрес редакции:
620219, г. Екатеринбург,
ГСП-353, ул. Декабристов, 67
Телефоны отделов:
223-662 (фантастики),
224-501 (краеведения,
секретариат),
220-481 (прозы и поэзии, публи-
цистики, науки и техники, моло-
дежных проблем)

Компьютерная верстка выполнена
в ТМ «КВН УПИ»
Оператор: А. Беляшкин

Рукописи принимаются
перепечатанными на машинке через
2 интервала, 60 знаков в строке, 28-30
строк на странице. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

По вопросам подписки и доставки
обращаться в районные отделения
«Росвязьинформа»

Бракованные экземпляры отправлять
в Чеховский полиграфический комби-
нат.

Сдано в печать 11.04.93.
Подписано к печати 11.04.93.
Формат бумаги 84x108 1/16.
Бумага газетная.
Офсетная печать.
Усл. печ. л. 8,82
Уч.-изд. л. 12,8
Усл.кр.-отт. 10,08
Тираж 110000
Заказ 23.

Чеховский полиграфический комбинат
142800, г. Чехов Московской обл.,
ул. Полиграфистов, д. 1.

В номере использованы иллюстрации
М. Эшера.

© «Уральский следопыт», 1998 г.

УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ URAL STALKER

В НОМЕРЕ:

Собор Осинской Богоматери
В. РУСАНОВ 1

Юродивый. Повесть
К. ЛАГУНОВ 3

Поэтический лист
О. ГОНТАРЕВ А. ГРЕБЕНКИН 23

Заочный КЛФ 25

Спор с дьяволом. Повесть
Г. ПРАШКЕВИЧ 29

Заочный КЛФ 53

«Тагильский краевед» 57

«Как мы охотились первый раз на уток»
А. ТОЛСТОЙ 58

Краеведческая копилка 60

Последний император на монетах России
В. ШАРИН 63

Дело Бодхидхармы
Ю. ЗАЙОНЧКОВСКИЙ 64

«Надо петь, как в народе поют...» 68

Иллюстратор иллюзий
Д. КОНОНОВ 71

Вход воспрещен. Рассказ
А. ВИННИНГТОН 74

Мир на ладони 78

Такая разная Рекха
С. ХЛЫНОВА 80

К ЧИТАТЕЛЮ:

В истекшем году редакция, кажется, сделала все возможное, пусть во многом и не по своей вине, чтобы отпугнуть от журнала последнего читателя. Дважды мы меняли цену издания, провели переподписку, а затем и новую подписку. Можно только представить, сколько бесконечных часов вместо чтения «Следопыта» вы потеряли в хождении и стоянии в минувших очередях. Seriously подкосила репутацию журнала подписка на том фантастики братьев Стругацких. Свистопляска цен и наша собственная безалаберность привели к тому, что мы сорвали договорные обязательства перед читателем. Книга была выпущена, но расшлысала медленню. Результат — сотни, если не тысячи гневных писем.

Вполне естественно, что редакция с большой тревогой ожидала итогов подписки на 1993 год. Поверит ли читатель, что журнал допустил сбой не столько в силу внутриредакционных причин, сколько прежде всего из-за крайне неблагоприятной ситуации в стране? Сохранится ли основной костяк читающей аудитории? Спасибо тебе, читатель, — на оба вопроса ты дал утвердительный ответ.

Доверие — это прежде всего ответственность редакции перед читателем. Вы проголосовали за журнал своими кровными, сейчас наша очередь, наше ответное слово. В новом году читатель встретится на страницах издания как с давно известными, таки новыми авторами. Помимо традиционных разделов — фантастики, краеведения, реалистической прозы — журнал значительно усилит публицистико-познавательную деятельность. Не буду перечислять новые тематические рубрики — вы их оцените сами. Журнал сменил издательство — сейчас нас выпускает не Средне-Уральское книжное, а вновь созданное издательство «Уральский следопыт». Изменилась и полиграфическая база: с первого номера журнал печатается не в Екатеринбурге, а в подмосковном Чехове. Надеемся, что все эти крупные перемены к лучшему.

В апреле 1993 года «Следопыту» исполняется 35 лет. Дата почти юбилейная, но юбилейных торжеств не будет. Главный итог десятилетий — даже в ненастную погоду перемен «Следопыт» живет и здравствует благодаря своему читателю. Спасибо!

Мешавкин

ЮРОДИВЫЙ

повесть

глава первая

А Бог судил иначе

Спит город.
Давно спит.
Сытым, крепким сном.

Ставни и двери, ворота и калитки — все на крючках и запорах. Грубы, тяжелы, но надежны запоры. Чутки, свирепы сторожевые псы. «Тук-тук-тук!.. Тук-тук-тук!..» — неторопливо поклевывает сторожевая колотушка дремотную вязкую черноту. Та упруго прогибается, вибрирует и вдруг лопается, и в ту, еле приметную щель безответным тоскливым зовом прорывается осторожное «слу-у-у-ша-ай!»

Под золочеными куполами соборных звонниц гундосит и ропщет верховой ветер. Северный ветер. Забирается внутрь колоколов, раскачивает их чуждые языки, те, тихонько поскрипывая, из последних сил тянутся и не могут дотянуться до голосистых медных боков.

Видно, озлясь на свою немочь, ветер набрасывается на косяк облаков, растаскивает, расшвыривает их. Те разлетаются диковинными птицами, роняя на землю тревожные трепетные тени. На какое-то недолгое время становится видна синеватая глыба неба, расклеванная неведомыми птицами, и в проклеванную синеву волчьими глазами недобро смотрят на город звезды. Пялятся, краснея от натуги, луна. Слепо и жутко шарит по лабиринтам будто вымерших улиц, гоняя по земле паукообразные тени.

В лунном свете все: колокольни, деревья, дома — все кажется невесомым и таинственным, а от затаившегося на горе кремля веет чем-то грозным и жутким. За толстенными кремлевскими стенами вполглаза дремлет неусыпная всемогущая державная и духовная Власть, пред которой трепещет служилый, мастеровой, торговый и пашенный люд необъятной сибирской губернии. В кремле — митрополитовы покои и дворец губернатора — неограниченного властелина всяя Сибири.

Рядом с Кремлем — Гостинный двор и всей Руси

ведомый острог, куда отовсюду сгоняют неугодных, непокорных властям бунтовщиков и ослушников. Туда входят толпами через широкие ворота, оттуда выползают поодиночке, безмолвными тенями проскальзывая в узенькую щель тяжелой кованой калитки...

Вот-вот петух протрубит полночь, отколет от глыбищи Времени еще одну крупницу, и та бесшумно и бесследно канет в небытие. И в тот, короче вздоха, полуночный миг мелькнет последней вспышкой день отживший и тут же займется день еще непрожитой. Начало и конец, смерть и жизнь сольются в одном мгновении. И сладок, и горек этот миг, как и вся жизнь, и где бы он ни застиг Парфентия, все равно, не мелькнет незамеченным, слышав полуночный клик петуха, Парфентий болезненно напрягся, вслушиваясь в гулкий раскатистый клич, а его черные тусклые, будто холодные угли, глаза вспыхивали яростным мстительным огнем.

Он был палач. И ремеслом жестоким владел искусно. Из Парфентьевых рук обычно в землю уходило либо немymi и слепыми тварями уползали заживо догнивать. Палача опекал сам губернатор, и только его слову повиновался Парфентий. Их связывали многие черные кровавые тайны. Потому, верно, в разговоре со своим господином палач был прям и откровенен, выговаривая иногда такое, за что любому прочему вырвали сперва язык, а потом и душу.

Повелитель выслушал Парфентия молча. Кивал головой, пристукивал длинными холеными пальцами по золотой табакерке. Подносил к тонким ноздрям прямого носа крохотную шепоть душистого зелья, жадно втягивал, аппетитно и громко чихал. «Будет, Парфентий», — и палач умолкал.

Со всеми прочими Парфентий был нем, как камень. Никто из близких палача не знал, куда и за чем уходил по ночам. С женой и родичами Парфентий был строг, малоречив и только со своей собакой любил иногда поговорить.

Это был огромный желтый пес неизвестной породы, большеголовый и лобастый, почти никогда не подавший голоса. Он молча оборонялся и молча нападал. Когда Парфентий напивался допьяна, пес клал на колени хозяина тяжелую голову, немигающими коричневыми глазами засматривал в угольно-черные холодные глаза и каменел, слушая палача...

Чуть свет сегодня известили Парфентия, что ночью он понадобится губернатору. И то ли от этой вести, то ли еще от чего-то, только за завтраком Парфентий выпил целый жбан хмельной душистой медовухи и опьянел. Жена с детьми поспешили прочь от прилипчивых прожигающих глаз Парфентия, и тот, положив пудовую ладонь на песий загривок, нехотя ронял увесистые, шершавые слова:

— Ты скажи, я кто? Кто я по-твоему?.. Палач?.. Да?.. Молчишь?.. Чего зенки-то пялишь, собачий сын?.. Я — когти и клыки власти. Что за власть, коли она ни куснуть, ни цапнуть? А как ограбать, придушить, кинуть кровь без палача? То-то! Тут без нас ни-ни! Без палача нет власти... Отымика у державного орла когти, отсеки клюв... Скалишься, сучий выродок!..

Вдруг он будто бы надломился, посуровел, потухли огоньки в бездонно глубокой черноте расширившихся глаз.

— Знамо, не беловшейка. Ин раз по локти в крови. Рубахи не отстирываю, прямо в огонь... Душегуб и кровопиец! И не молось. Не каюсь. Не прошу бога. Потому знаю: не простит!.. — Бухнул по столешнице похожим на бульжник кулачищем. — А должен бы... Должен!.. Оттудова-то ему видать, кто бьет, а кто велит бить. Награждает за то, платит... — Сграбастал пса за шею, припал лбом к собачьему лбу, и с надрывом: — Мы кто?.. Псы! Сильному пятки лижем, слабому — глотки рвем!.. А все-то лучше ли нас? Друг дружку живьем. Токмо со спины, из-за угла... А мы — не таясь. Глаза в глаза, открыто. Праведно...

Голос его постепенно слабел. Слова сбегались нелепо и непонятно. Пес терпеливо слушал затихающее бессвязное бормотание. От сивушного духу брезгливо морщился, но лизал изрытую оспинами, расплосованную зарубцевавшимся шрамом хозяйскую щеку. Нехотя. Но все-таки лизал: такова песья участь, такова плата за даровой, лакомый кусок.

Засыпая, слабел телом, дряб, грузнел Парфентий, все ниже клонился к земле. Наконец, он соскользнул с сиденья, с глухим жутким стуком рухнул на пол, запрокинулся на спину, раскинул руки и ноги, и захрапел.

Пес улегся рядом, положил голову на вытянутые передние лапы и чутко стерег хмельной беспамятный сон хозяина. Стоило ненароком кому-нибудь заглянуть в комнату, и тут же верхняя губа собаки морщилась, топорща усы, обнажая жутко посверкивающие влажные клыки. Слышался предостерегающий утробный рык, в котором было столько свирепости, что у непрошеного пришельца холодела спина, а ноги сами собой подгибались и торопились за дверь.

Одуряющая могильная тишина растеклась по большому, на века скатанному из лиственниц, высокому светлому дому, заполняя в нем все уголки, все вмятинки. И словно специально для того, чтобы подчеркнуть, утяжелить и сгустить эту тишину, с носка серебряного рукомоиника стали вдруг падать в сверкающий медный таз крупные, будто свинцовые, капли.

Чмок...

Чмок...

Чмок...

Из щелей в полу, из темных углов, из-под печи — отовсюду напоззала серая нудная дрема, слой за

слоем все плотней укутывая спящего палача и сторожку дремлющую собаку...

2

Исповедальней нарек это заведение князь Лебедев — владыка необъятной Сибирской губернии, коя, упершись макушкой в Урал, полоскала пятки в Тихом океане.

Кто знает, для чего строился этот каменный мешок без окон, может, именно для той самой начинки, которая сейчас и наполняла его. Горн и маленькая наковальня, молотки, крючья, щипцы, кадушка с водой — все это с первого взгляда наводило на мысль о подпольной кузнице. Но зачем кузнецу привязанные к потолку веревки, вмурованные в стену скобы и кольца, низкие толстенные скамьи, деревянные колодки и еще какие-то непонятные, отсутствующие в кузнечном обиходе орудия?

То была пыточная Парфентия, святая святых палача, куда кроме князя Лебедева, отродясь никто не заглядывал. Парфентий сам и прибирал здесь, и дрова сюда носил, и воду, сам выволакивал отсюда мертвяков, вытаскивал еще живых, теплых, но уже не жильцов...

Когда летний день с ночью лбами стукнулись и серый морок за клубился в тихих улочках губернской столицы, Парфентий подошел к невысокой округлой двери, выкованной из листового железа. Неспешно отпер висячий пудовый замок. В неприметной выемке нащупал железную шишечку, повернул ее, и невидимая пружина, звонко щелкнув, вытолкнула секретный внутренний засов. Кузнеца-умельца, который за большие деньги оборудовал пыточную, придумал и смастерил этот запор, Парфентий опоил до полусмерти и скинул в колодец голову вниз...

Придушенно взвизгнув, тяжелая кованая дверца уплыла в черноту. На Парфентия пахнуло погребной плесенной сырью, тленом и отпотевшими камнями. По крутым, почти отвесно сползающим в глубь, невидимым ступеням Парфентий шагал медленно, тяжело, но уверенно. Нащупал в темноте запор на крохотной дверке, сколоченной из толстенных плах, вслепую отворил и, привычно согнувшись, вошел в пыточную. Раздул подернутые золой угольки в горне, прижег бересту, подпалил от нее два факела-светильника, вставленные в специальные железные ставцы, и по ноздреватым закопченным каменным стенам заметались косматые тени, заскакали яркие блики. Пламя факелов с легким потрескиванием тянулось вверх, к невидимому проходу, который таился в центре конусообразного потолка и был сделан специально для притока свежего воздуха.

Небрежным мимоходным движением руки Парфентий, качнув меха, раздул горн, заглянул в кадку с водой, сподручно разложил свой инструмент.

Оставив маленькую дверцу отворенной, палач вылез на волю, поворочал могучими плечищами, надул колоколом грудь, призывно свистнул. Тут же, будто из-под земли вынырнув, подкатил к нему крытый черный возок. Две немые серые тени спрыгнули с запяток, выволокли из возка человека. Тот замычал, стал вырываться, но его тут же сграбастал Парфентий и кулем стащил в пыточную.

По тонкой, аккуратно подогнанной и добротной

сшитой одежде, по белому лицу, по тому, как брезгливо и резко отстранился, прикрикнув: «Не смей меня касаться!», Парфентий определил, что в его руках не просто барин, а важный барин, и злая радость кольнула сердце палача, захотелось поиграть с жертвой.

— Ой, батюшка барин! Ваша светлость! Прости дурака за ради бога!.. — смиренно и напуганно воскликнул Парфентий, отступив.

— Ты что, скотина, не видишь, кого хватаешь? — свирепо вскричал барин, замахиваясь и наступая на Парфентия.

— Не гневайся, батюшка. Такая наша служба. Мы людишки малые. Сказано, вот и выполняем.

— Пошел вон, негодяй!.. Меня... Дворянина... Дьяка... Где мой сын?.. Тебя спрашиваю, скотина!.. — И попер грудью на палача, гневно посверкивая глазами и размахивая пухлым кулачком. Приниженно и боязливо бормоча что-то невнятное, Парфентий пятился до тех пор, пока не уперся спиной в дверцу. А в барине все разгорались ярость и задор, и, не смотря на свой малый рост, он напирал на Парфентия. И когда тому больше некуда было пятиться, освирепевший барин ткнул палача кулаком в подбородок.

Не ожидавший этого, Парфентий больно стукнулся затылком о каменную стену, и тут же его люта растопыренная пятерня ястребом упала на барскую голову, вцепилась в рыжеватые кудри, и страшная неодолимая сила согнула барина в дугу. Схватив другой рукой толстый ивовый прут, Парфентий со всего размаху так полоснул им по круглому напружиненному заду, что штаны на барине лопнули.

— Вот так... — пробурчал Парфентий и ударил еще раз. — Не вознось. Не давай воли рукам...

Согнутого кренделем барина Парфентий за волосы подтащил к низкой деревянной скамье и плюхнул на нее с такой силой, что у барина зубы клацнули.

— Ишшо раз намахнешься, потроха вышибу, — негромко и деловито пообещал Парфентий.

— Не смеешь! — уязвленно вскрикнул барин, вскакивая.

— Смею, — самодовольно и весело уркнул палач. — Сразу видать, ни разу не бивали тя. С пеленок «ваша светлость, что изволите...» Зато мужику за малый ослух в рыло... на конюшню... на кол... Вот теперича поквитаемся. За весь ваш барский род. Ужо понатешусь, поддублю белу шкуру...

И так щипнул барина за плечо, что тот, ойкнув, плаксиво скривился.

Скрипнула входная дверка. Парфентий еще раз, с вывертом и с оттягом, щипнул барина, увещавательно ласково проговорил при этом:

— Так что не изволь беспокоиться...

И отступил в сторону...

3

Палач бесшумно отступил в сторону, и эти двое увидели друг друга.

— Князь! — надорванно воскликнул барин. — Так это... Это... Господи... — И смолк, затравленно озираясь.

— Успокойся, Зыков, — увещавательно негромко заговорил князь Лебедев, с усилием втискивая свое

дородное холеное тело в махонькое креслице, поставленное здесь специально для него. — Давай поговорим откровенно...

Но Зыков то ли не слышал этих слов, то ли не внял им, и, едва Лебедев умолк, заговорил громко и неистово:

— Так это по твоей воле схватили меня на переправе. Прибили слуг. Уволокли сына. А меня... меня... как раба... как татя... со связанными руками в вонючую каморку... потом сюда... И этот холоп... этот выродок... по твоему приказанию, значит... О-о!.. Выбраться бы отсюда. Я до государя императора...

Рваную истеричную речь пленника князь Лебедев выслушал спокойно, с выражением оскорбленного достоинства и усталости на вельможном лице. Потом сказал хладнокровно и тихо, словно речь шла о чем-то мелочном, второстепенном:

— Ты не выберешься отсюда, Зыков. Из этой исповедальни одни ворота — на тот свет.

— Мыслишь, сие останется в тайне? — угрожая и голосом, и взглядом, надорванно прохрипел Зыков. — Нет ничего тайного, что не стало бы явным, князь! Дойдет и это злодейство до государя! Клянусь богом...

— Не клянись, Зыков! — предостерегающе вскинул унизанную перстнями длиннопалую пухлую кисть руки, отороченную белоснежным кружевным манжетом, тряхнул пышным париком, осыпав плечи душистой белой пудрой. — Любая клятва умрет вместе с тобой, ровно как и угроза...

Что-то похожее на улыбку зародилось в уголках надменного властного рта, поплыло было по щекам, струнуло с места, поставив надолгами лохматые брови, заронило жаркие искорки в усталые мудрые холодные серые глаза, частыми бороздками покрыло лоб. Но, зародившись, не проросло, не распустилось, а тут же увяло, погасло.

— Немедленно прикажи отпустить меня! — требовательно выкрикнул Зыков.

— О, Боже всемилостивейший! Ты, друг мой, ничего не понял. Обида и страх затмили твой рассудок. Уйми гнев. Одумайся. Уразумей, наконец... Сегодня на свету ты с сыном отбыл в Петербург якобы для прощания с умирающей матушкой. До осени ни здесь, ни там вас не хватятся. Потом супруга твоя, получив из Петербурга весть от здравствующей свекрови... Да продлит Господь дни ее... — Возведя очи к потолку, Лебедев неспешно перекрестился. — Получив весть о том, что вы в Петербурге не были, супруга возопит о помощи. Мы начнем сыск. Твою лодку и кое-что из вещей найдем у остяков. Повесим парочку для острастки. Это им впрок, чтоб послушней были. Утешим вдову и твою дочь. Отслушим панихиду по убиенным Владиславу и Евгению. Доложим Сенату. И оное происшествие канет в лету...

По мере того, как князь говорил, глаза Зыкова округлялись, наполнялись все поглотившим, животным ужасом. Страх заострил и оглушил лицо: выпученные глаза, открытый рот, серые дрожащие щеки. Зыков долго тужился, сиюсь слотнуть застрявший в глотке ком, и, едва это удалось, проскулил:

— Сын-то причем?

Небрежно, изысканным жестом князь Лебедев оправил завитки парика, осуждающе покачал головой и тихо, с приметной неохотой, проговорил:

— Сын ехал с тобой... С тобой и пал...

— Да как же ты!.. Ка-ак... — Захлебнулся. Так рванул ворот рубахи, что та расплзлась. — Царев ставленник. Его надежда и опора. Губернатор!.. Князь!..

— Дослушай, сделай милость, — засердился Лебедев и взглядом повелел Зыкову сесть. Тот покорился. Обхватив голову руками, замер. — Все может свершиться по-иному. Мы завтра же отобьем у остяцких воришек твоего наследника, живого и невредимого. Выловим в реке твое тело и с достойным почетом и пышностью предадим земле. Семью облагодетельствуем. Сына возведем в люди... Клянусь всевышним и честью...

И умолк выжидательно, не опуская пытливого взгляда с надломленного, согнувшегося Зыкова. Тот долго подавленно молчал, не в силах до конца уразуметь происходящее, и все еще тайно надеялся на что-то сверхъестественное, на чудо, которое вызовет, спасет. Ему казалось, уже бегут, летят, мчатся сюда избавители. Вот голоса, шум, топот ног по каменным ступеням. «Ну же!.. Живей, други!..» Но шум откатывался, глух, и только похрустывание горящих факелов слышалось в каменной утробе пыточной-исповедальни. Меркла надежда на чудо. Гасла вера в спасение. Растекался по телу, леденя и его, и душу, ужас.

Первобытный.
Неодолимый.
Смертельный ужас...

Зыков жался и жался спиной к неподатливо твердым, холодным камням стены. Широко распахнутые, лихорадочно сверкающие глаза переполнились смертной тоской. Еще чуть-чуть, и он сорвется, не выдержит, забьется в истерике, моля о пощаде.

«Вот края твоей дерзости. И гордыня иссякла. Все одинаковы. Нет жаждущих положить свой живот за правду... Молодой. Красивый. Голова светлая. Сломить бы его, перелицевать... Добрый был бы фискал...»

Обескровленные губы Зыкова задвигались, зашевелились. Лебедев напряг слух, но ничего не услышал. «Никак онемел, — затревожился он. — Не рехнулся бы. С сумасшедшего какой спрос?» Неспешно раскрутил золотую табакерку, нюхнул табаку, прочихался, а когда вновь глянул на Зыкова, обомлел, наколовшись на сосредоточенно острый ненавидящий взгляд. На продолговатом белом лице Зыкова закаменела злая решимость.

— Чего надо от меня? — натужно вымолвил Зыков.

— Сушью безделицу, — тут же откликнулся князь Лебедев. — Ты вез гнусный донос на меня, отменно ловко и со знанием дела сочиненный. Не скрою своего восхищения. Крепкие силки изладил ты для меня. Все в твоём доносе... — метнул пытливый взгляд на палача, еле приметно улыбнулся,

вздыхнул и с показным покаянным откровением договорил: — Все есмь святая истина. И то, что остяцких и вогульских князьков обираю, и то, что золотишко, добытое под Камнем, лишь наполовину попадает в государеву казну. И что экспедиция, посланная мною на Восток, не побита инородцами, а погибла из-за плохой оснастки, ибо деньги, отпущенные на сие нужды, я поклат в свой карман. Все-все — истина. Как на духу признаюсь тебе, милостивый государь. За любой, поименованный в доносе грех...

Зыков вдруг злорадно и громко засмеялся. Пораженный князь умолк на полуслове. Когда же странный, коробящий душу смех обреченного затих, Лебедев с неприкрытой обидной растерянностью проговорил:

— Не уразумею, что тебя развеселило?

— А то развеселило, что ты не с той карты игру начал. Главный-то козырь запомнить изволил. А ведь челобитная государю с него и начинается.

— Не возьму в толк, о чем ты?

— О твоём намерении отторгнуть Сибирь от матери России. Создать под твоим скипетром Сибирское царство. Самостоятельное и неподвластное государю нашему...

«Нет, не перелицевать, — искренне огорчился и тут же взъярился Лебедев. — То ли глуп, как барин, мыслит себя на сцене за разыгршем водевиля. То ли храбр и стоек, как воин...

Жаль, коли так...»

Пуще всех иных добродетелей Лебедев ценил в мужчине храбрость и великодушно прощал храбрцам многие прегрешения. Отчаянная непоказная смелость Зыкова породила в князе острую досаду, ибо не мог он, не в силах был пощадить этого гордого смельчака. Единственно, что мог бы князь подарить Зыкову, это скорую и безболезненную кончину. Но...

Сухо и негромко потрескивали горящие факелы. Казалось, пламя с хрустом жадно пожирало плоть неведомых существ, те трепыхались, бились в огненной пасти, от чего шевелились, металась языки пламени, гоняя по потолку и стенам черных уродливых страшил. Протяжно и тонко скулил ветер в невидимой горловине продуха.

Остыл, отрезвел от испуга Зыков, хотя и постиг трагическую безысходность своего положения. Сейчас он не думал о собственной жизни, о сыне: его терзало раскаяние. Как глупо угодил он в капкан. Кто же предал? Что, если Иуда — один из трех единомышленников, коим только вчера прочел набело переписанное донесение государю?..

Тяжелый медлительный взгляд палача то прилипал к князю, то замирал на Зыкове, а то начинал елозить по колоде, до черноты пропитанной человечьей кровью. Все понял Парфентий и, странное



дело, почему-то сразу принял сторону Зыкова. Может, потому, что тот лишь поначалу струсил, но пересилил страх, и не трепетал боле, не заискивал, не вымаливал пощады, напротив, напал. Этот лезущий на нож Зыков разом вырос в глазах палача, стал и ростом выше, и в плечах шире. А его бессильно кинутые на колени кулаки, казалось, угрожающе затяжелели. По мере того, как укрупнялся Зыков, мельчал князь, становясь дряблым, снудым, беспомощным. Палачу показалось даже, что он запризметил в хозяйских глазах не то раскаяние, не то боязнь, не то жалость.

— Так вот... — спокойно, словно бы и не было этой долгой тягостной паузы, вновь заговорил князь. — Свой донос, включая и оговоренную тобой прибавку, ты сочинял не в одиночку...

— Вестимо так, — тут уже подтвердил Зыков и встал, скрестив руки на груди. — И список сего послания хранится и дойдет до государя, а вот у кого хранится? Кто пособлял мне? О том, князь, тебе не узнать.

— Бахвальство, недостойное государственного мужа, — укорил князь, вынудив поразительно белый носовой платок в кружевной оторочке и стерев им испарину с костистого круглого лба. — И не ровня тебе по закалке и силе распахивали здесь душу, выворачивались наизнанку. Но ты — дворянин благородного древнего рода. Дьяк. Видит Бог, не хочется мне унижать тебя пыткой. Подумай. Выдай список и единомышленников, а я дарю тебе достойную кончину. И сына... сына сохранишь...

— Нет, князь! — сразу же выпалил Зыков. — нет!.. И не тешь себя надеждой... Я и мертвый!..

Махнул Лебедев зажатым в кулаке белым комочком, и тут же Парфентий по-медвежьки сграбастал Зыкова за плечи и, ровно козжуру сухую с луковичцы, одним махом сдернул с него одежду. Стыд и ярость полыхнули в глазах Зыкова, лицо налилось жаркой кровью, он резко рванулся было из лап палача, но тот, зло и самодовольно бормотнув что-то невнятное, легко смял, согнул жертву, кинул лицом вниз на толстенную скамью. Навалась всей тушей, притиснул задохнувшегося Зыкова к чужими телами отполированной тесине, сомкнул и связал под скамьей руки и ноги истязаемого.

Проделав это безмолвно, проворно и ловко, палач отступил. Князь выждал какое-то время, потом тихо спросил:

— Уразумел ли ты, наконец, свое положение?

— Негодяй! — гневно выкрикнул Зыков.

— Полно, Владислав Феофилович, гордыню потешать. О сыне подумай. О жене с дочерью... — все еще уговаривал князь.

— Вор!.. Клятвопреступник!.. — завопил истерически Зыков, выгибая спину и крутя головой.

Шевельнул костистой бровью князь, еле приметно прищурил левый глаз, и тут же в руке палача появился кнут. Не длинный. Витой. С тонкими косицами на конце.

Короткий, еле приметный взмах, и острая, пронзительная боль оглушила, ослепила Зыкова, и от первого удара этого вся его жизнь раскололась на две неравные части, и та, наибольшая, прежняя, светлая и певучая часть закувыркалась в преисподнюю, разваливаясь, рассыпаясь, превращаясь в прах. Нет и не было ничего. Ни гордого званья дворянского. Ни знатного роду, ни племени. Ни завидной красавицы жены. Ни детей... Все перечеркнула

багровая полоса, начертанная на теле кнутом палача. Все, оставив несчастному лишь стыд, унижение и боль. Да еще ненависть. Лютую. Черную.

— Образулся ли? — сухо и деловито осведомился князь. — Иль доселе потешаешься верой в чудо? Не разверзнутся небеси, не грядет избавитель. Парфентий по жилочке вымет из тебя душу, а своего достигнет. Кто соучаствовал в доносе? У кого список с него?..

Набрав полную грудь воздуха, Зыков неистово завопил:

— Жалкий, подлый трус!.. За мой позор... За мои муки!..

— Секи!

Багровые кровоточащие рубцы оплели спину Зыкова. Сцепив зубы, зажмурясь, судорожно вздрагивая при каждом ударе, Зыков молчал. По искаженному мукой лицу текли пот и слезы, на искусанных губах они мешались с кровью и розовыми струйками сползали по подбородку.

Нетерпеливо встал с кресла разгневанный князь. Палач опустил занесенный кнут, отступил, тяжело дыша. Легкими мелкими шажками князь подступил к окровавленному телу.

— Говори, кто?

— Вор!

— На дыбу!

4

Истерзанное тело Зыкова мешком висело на дыбе. Надломленной шапкой подсолнуха обвисла голова. Казалось, тронь — отвалится, падет на черные каменные плиты пола.

Потный Парфентий еле оторвался от туюска с квасом, громко выдохнул застоявшийся в груди воздух, рукавом небрежно смахнул пот со лба и квас с бороды и усов. Руки палача мелко подрагивали.

Смачно, с прикряхтыванием и аханьем, князь нюхал заморский табак, держа на отлете раскрытую табакерку — дар императора за усердие и верность престолу. Долго чихал, сморкался, неспешно упрятал в карманы платок и табакерку, беспечно и пристально вглядываясь в висящего на дыбе.

— Жив ли?

Парфентий подхватил с полу бадью, зло плеснул в лицо истязаемого. Помешкав чуток, плеснул еще и еще.

Зыков еле приметно шевельнулся, глухо простонал.

— Однако, боли не сдюжит, — предупредил палач.

— Где отрок?

— Под рукой.

— Давай.

Палач медленно вышел из пыточной.

Выхватив из ставца факел, князь поднес пламя к лицу Зыкова.

Огонь лизнул щеку и чуть отстранился. Зыков еле приоткрыл глаза, долго бессмысленно вглядывался в князя. Что-то похожее на болезненно плаксивую улыбку слегка покривило разбитые искусанные губы. Приметив это подобие улыбки, верно ее истолковав, князь медленно, с неприкрытой яростной хрипотцой процедил сквозь зубы:

— Сейчас приведут твоего сына... Слышишь?..

Глаз станут пытаться, жестоко и страшно. На твоих глазах. До тех пор, пока не скажешь...

По телу Зыкова пробежала дрожь. Он приподнял голову.

— Ну! — нетерпеливо притопнул князь. — Говори же!.. Можно еще спасти сына. Но как только он войдет и увидит...

Зыков плакал и молчал.

— Бог тебе судья, Зыков, — клекочущим раскаленным голосом скрипуче и растяжно проговорил князь. — Сам себя на Голгофу и сына за собой. Невинного... Юного...

— Будь проклят, — с усилием выговорил Зыков, сплюнув черный сгусток крови.

Вошел палач, волоча в охапке мальчика, будто мешок с опилками, небрежно кинул ношу под ноги. Мальчишка инстинктивно вытянул руки и тем сохранил лицо, и ушибся не сильно, потому сразу вскочил на ноги. Бледный, трепещущий от страха, с налитыми ужасом и болью глазами. Увидев распятого на дыбе окровавленного человека, мальчик сперва шарахнулся от него, но глаз не отвел, и вдруг по-заячьи тонко и пронзительно вскрикнул:

— Батюшка!..

Метнулся к отцу. Тянулся к нему и боялся его, и все выкрикивал, как в горячем бреду:

— Батюшка!.. Батюшка!.. Батюшка!..

— Остановись, Евгений, — вдруг приказал Зыков голосом неожиданно твердым и сильным. Парфентий ошеломленно вскинул кудлатую голову, воззрясь на Зыкова со смешанным выражением изумления, почтения и страха на лице. А Зыков голосом еще более упругим и сильным говорил:

— Мы в руках заклятого врага государя и России. — Метнул в князя раскаленный взгляд и на какое-то время пришил того к каменной стене. — Это злоумышленник и тать, замысливший отринуть от Руси Сибирь. Хотел я правду о нем государю поведать. Кто-то предал... Князь хочет твоей кровью, муками твоими принудить меня к измене Родине и государю. Чего ты вздрогнул, князь? Зело пакостлив и труслив ты, аки шакал... Шакал!.. Ша-а-ка-а-аал!!

— Заткни ему зев! — опомнясь, тоненько и хрипло выкрикнул князь, нащупывая в кармане платок.

Теперь-то Парфентий окончательно уверовал: князь сотворил великую измену и теперь прячет концы преступления. Самого б его в дыбки. Вот на ком показал бы Парфентий свое мастерство, с живо-го кожу снял... Труслив князь. Жесток и подл. Давно знал это Парфентий, но вслух о том доселе никто не посмел молвить. А этот ни себя, ни сына не поберег, а правду метнул в лицо изменнику. И мысленно подбадривая и подзадоривая распятого на дыбе полуживого Зыкова, палач со всей силы замахнулся кнутом, а ударил впятеро слабей замаха. Но Зыков этого не заметил: все силы и мысли, и чувства его, все, что еще было живым в этом замученном, истерзанном существе, все ушло на то, чтобы выкрикнуть:

— Князь!.. Где ты?.. Выйди на свет. Покажись. Зри мне в очи. В очи!.. Россию предал... Честь дворянскую растоптал... Государя обманул!.. Иуда!.. Клятвопреступник!.. Проклят будь... И род твой до...

— Язык! — задушенно и жутко взвизгнул князь.

Палач послушно откинул кнут, схватил щипцы.

— ... седьмого колена... Отныне и на веки...

Похожие на разъявленную гадючную пасть длинные железные щипцы по-змеиному ловко и молниеносно проскользнули в рот Зыкова. Что-то живое смачно и жутко треснуло. Нутряной протяжный вой заполнил пыточную. Палач брезгливо отшвырнул щипцы с зажатым в них кровавым комочком. Конвульсивная дрожь прокатилась по телу Зыкова, шевельнула руками, переместила ноги и вытряхнула из него дух.

Потрясенный подросток пятился и пятился от мертвого обезображенного тела отца, пятился до тех пор, пока не наткнулся спиной на сухое, острое колено князя. Словно ожегшись, подросток вскрикнул, резко обернулся, и совсем рядом князь увидел два чудовищно огромных глаза, переполненных болью, ужасом и ненавистью. Этот змееныш не только трепетал, но еще и ненавидел. И только что перенесенный позор разом перекипел в бешенство, сосредоточился на этих сумасшедше огромных и ярких глазах.

— Замкни зенки, гаденыш!

А тот распахнул еще шире.

На пол-лица.

На все лицо.

Ни рта.

Ни носа.

Ни щек...

Только два налитых ненавистью блюдца.

— Парфентий! Выколи эти зенки!..

В руке палач сверкнуло шило. А мальчик вдруг засмеялся, потом тихо и жалобно захихикал.

По спине Парфентия скользнула ледяная змейка. Он опустил руку с шилом.

— Поздно, князь, Бог пожалел его...

Ребячий смех стал звонче и залихватей.

— Души! — прохрипел князь. — Нет. Стой. В реку с крутогорья... Потом выловим... А этого — зарыть... — Не глядя, сыпанул на край горна горсть золотых монет. — На поминки...

И ушел, горбясь и покачиваясь, не то покряхтывая, не то постанывая.

Парфентий не кинулся посветить хозяину и на золотую горку не глянул...

глава вторая

Пелымская обитель

Великая та река начиналась где-то далеко, в нерусской жаркой стороне, и пока докатывалась до Сибири, вбирала в себя множество притоков, больших и малых, все расширяя и углубляя русло, и в землю Сибирскую входила хозяйкой, с норвом которой считались все, кто селился по ее берегам, плавал по ее водам, кормился ее дарами. Коренные жители этого края в легендах и песнях восславляли, обожествляли реку, величая ее матерью и кормилицей. По великой реке и ее многочисленным притокам уплывала в Россию знаменитая сибирская пушнина: соболя и куницы, лисы и песцы, бобры и белки, а приплывали железо, порох и дробь, сукно и шелка. А еще река доставляла в Сибирь царевых да божьих ослушников, бунтарей да разбойников, вольнодумов, вольнолюбов, беглецов всех мастей.

По той реке плыли в Сибирь служилые, пашенные и ратные люди, а еще царевы и божи угодники да прислужники, кои несли с собой грамоту, закон царский и закон божий. И будто вежи их многотрудного и нескорого пути, вставали по берегам величавой могучей «матушки-кормилицы» города и остроги, часовни, церкви, монастыри.

Божьи слуги брезгуют мирской суетой, оттого, вероятно, и строились монастыри в местах глухих, безлюдных, подальше от сатанинских соблазнов, поближе к господу. Эти божи обители вырастали вдруг, отгораживаясь от мира крепостными стенами с узкими прорезями бойниц, в которых, грозя и предостерегая, маячили чугунные жерла пушек.

Вот так вдруг поднялся и пелымский монастырь. Поднялся в глухой заповедной тайге, где охотничья-то нога ступала не всякий год. Крепостные монастырские стены со всех сторон тесно обступила колючая богатырская кедровая рать, а за кедровником, в любую сторону неохватная даже мысля, расплеснулась выковая дремучая тайга с молитвенно певучими, просторными и светлыми сосновыми борами, с угрюмыми и темными еловыми чащами, с глухими, черными да сырыми буераками, поросшими ослепительно яркими цветами и травами, таежными полянами, вокруг которых хороводятся томные березы, звонколистные осины, кудрявые кокетки-рябины, колкие недотроги боярышни-боярки да пахучая черемуха...

Монастырь вознесся на крутом правобережье великой реки, где берег вспучивается и огромным, похожим на корабельный нос мысом далеко врзается в реку. И та, повинувшись береговому напору, пятится, прогибается дугой-излучиной, с трех сторон обняв своими водами мыс. С того врубившегося в реку крутоярья выдилось бесконечно далеко-далеко, дух захватывало от простора, где зеленое мешалось с голубым, и прошитое солнечными нитями, колыхалось, и сверкало, и благоухало медвяным духом трав и цветов, хмельным ароматом багульника, терпким запахом разогретой сосновой смолы.

Сюда, на крутоярье, не долетал смрад невидимых гиблых, непроходимых болот, что с севера перекрыли подступы к монастырю. На левом, низменном берегу жгучей яркой зелёнью манили человека, зверя и птицу привольные, тучные заливные луга, где монастырская братия на долгую сибирскую зиму заготавливала сено для лошадей и коров. Там же, на лугах, все лето кормились монастырское стадо и монастырские пчелы.

В погребках никогда не переводилась соленая, вяленая, копченая и свежая рыба, да не какая-нибудь красноперка, а муксун да нельма, стерлядь да осетр.

Ближайшие к монастырю таежные проплешины монахи превратили в пашню, которые с великими

усилиями, очень-очень медленно, но все-таки расширялись год от году, кормя божьих слуг житом и ячменем, а их четвероногих пособников овсом. На монастырском огороде выращивали картофель, капусту, морковь, брюкву, лук и чеснок.

Монашеские кельи, церкви, часовня, склады и сараи — все было выстроено из кирпича, добротно и надежно — на века. А полутораметровой толщи высоченная каменная стена с башенками и бойницами могла бы выдержать долгую вражью осаду. Но осадить монастырь было некому. Юрты остяков да вогул отстояли от монастыря не на один десяток верст. Это были добродушные, миролюбивые люди, из поколения в поколение занимающиеся охотой да рыбной ловлей. Явление монастыря они воспринимали с великим любопытством, частенько наведывались туда по нужде, охотно привечали в своих юртах монастырских миссионеров, которые исподволь, очень осторожно, но неуклонно и наступательно проповедовали слово божье, крестили, венчали и отпевали обращенных в христианство язычников, одаривая их не только вниманием и лаской, но и топорами, ножами, пилами, котлами, ведрами и иной нужнейшей утварью, которую здесь ни купить, ни украсть, ни выпросить.

Вершиной миссионерской деятельности Пелымской обители явилось открытие монастырской школы-интерната для детей язычников. Весть об

этом выдающемся событии дошла не только до губернатора и сибирского митрополита, но и до патриарха всея Руси, а от него до самого государя. За то основатель и настоятель Пелымского монастыря игумен Клемент удостоен был патриаршей благодарности и получил в дар золотой нагрудный крест. Овладев инородческими языками, игумен Клемент составил первые рукописные буквари остяцкого и вогульского языков, а также первые, тоже рукописные, русско-остяцкий и русско-вогульский словари. Он не только крестил, обучил грамоте монастырских толмачей, но и натаскивал их в богословии настолько, что оба стали его незаменимыми и активными помощниками в миссионерской деятельности.

В мире игумен Клемент был боярином Павлом Алексеевичем Шумским, слыл богатеем и книжником, служил воеводою, не однажды сиживал за хмельною трапезой с царем, да как-то во хмелю оступился, молвил поперек государю, и хоть вовремя спохватился, но не попятился: не хотел казаться глупее, чем был. За ту поперешность и впал боярин в великую немилость, угодил в опалу и, спасая род от разора и истребления, а себя от погибели, кинулся с поклоном к патриарху, с коим не однажды вел долгие, мудрые, душеспасительные и богоугодные беседы. Патриарх вымолил у царя голову Шумского, переписывал и переименовал его и, по обоюдно-



му согласию, отправил опального на край земли русской, повелев тому основать святую обитель, форпост православия, в глухом и диком краю — остьячко-вогульском.

Властен, строг и праведен был Климент. С горсткой преданных приверженцев высадился на облюбованном крутоярье, вырыл две землянки, одну — для жилища, другую — под моленную, и начал строить монастырь... Жаль, не сохранились ни предания, ни документы, повествующие о строительстве пельымского монастыря.

Это был еще один, бог весть какой по счету подвижник русских мужиков, одетых в черные рясы. Их жилистые, цепкие, неустанные руки в один год возвели смолокурню и кузницу, лесопилку и кирпичный заводик, пекарню и коптильню, и многое иное. Зачинатели обители нередко жили впроголодь, зато работали от темна до темна, промокали и промерзали до печенок. В первую зиму могил появилось больше, чем построек. И вместе со всеми, вровень со всеми делил и хлеб, и труд, и молитву игумен Климент.

Великих усилий и лишений стоил ему монастырь, зато и славу принес не токмо в мире духовном, но и в мире светском — дружбы и знакомства с Климентом искали многие именитые сановники; все лето в гостинном монастырском доме жили знатные паломники, прибывшие в прославленную далекую обитель замаливать грехи прошлые и будущие. И каждый щедро одаривал святое гнездо.

Здесь, в Пельымской обители, зародилась сибирская школа иконописи. Здесь была собрана редчайшая по тем временам библиотека, золотой сердцевиной которой являлись рукописные фолианты. Здесь же родился первый в Сибири этнографический музей, в коем были любезно и тщательно собраны предметы быта и культа коренных жителей сибирского Севера. И все это содеяно по подсказке, с благославления и великой помощью отца-настоятеля игумена Климента.

Был он высок, прям и крепок, как лиственничный посох. Годы лишений, невзгод и тяжкого труда не надломили, а закалили Климента. Широкоплеч и грудаст, он шагал размеренно, но твердо и широко. Еще в миру приобретенная гордая величавая осанка не исчезла с годами, напротив, претерпела перемены к лучшему: из нее улетучились сытость и надменность, уступив место суровому благообразию и смиренности, которые, однако, нимало не убавили власти и неодолимой духовной силы пастыря. Несмотря на пережитое и на солидный возраст (ему недавно исполнилось шестьдесят), седина еще не коснулась его волос. Крутыми черными волнами они ниспадали на плечи. Того же воронова врыла цвета и яркости были и выхолощенная окладистая борода, и пышные усы. И глаза Климента — медлительные и внимательные — тоже черны, с поразительным жарким блеском. Могучий, благозвучный баритон отца Климента приметно выделялся в слаженном многоголосом церковном хоре монастырской братии...

2

Келья игумена Климента отличалась от прочих лишь начинкой. На деревянных полках, занимавших две стены, в тесноте выстроились шеренги

книг, разложены рукописные свитки, карты, планы. В переднем углу — небольшой дорогой иконостас, перед ним распятие Христа и аналой, на котором лежало огромное евангелие в кожаном переплете с золотыми петлями и застежками. Перед иконостасом чуть приметно подмигивал желтый язычок негасимой лампы. Воздух в келье ароматен и сух. Пахло ладаном, воском, молодым сеном и багульником.

В одной стене глубокая ниша. Там на опрятной подстилке с холщовой простыней распластался человек, накрытый толстым полосатым рядном. По белой холщовой наволочке разматывались тонкие завитки словно бы неживых волос. В их обрамлении восковое бескровное лицо лежащего казалось бы мертвой маской, если б не дрожащие ресницы и губы, с которых срывались какие-то странные звуки, иногда слагающиеся в слова, бессвязные и бессмысленные...

Сидя в просторном деревянном кресле с книгой в руках, Климент то и дело отводил глаза от книжной строки, пристально всматривался в лицо лежащего, напряженно прислушиваясь к его бормотанию. На сановном, хотя и сухощавом лице Климента отчетливо проступало беспокойство. Что-то притягивало его к беспамятно лопочущему больному, притягивало и тревожило настолько, что Климент в конце концов не выдержал, отложил книгу и встал. Неспешно подошел к лежащему в нише, поправил на нем рядно и долго пристально всматривался в тонкое желтое лицо с пугающими тенями в провалах щек и глубоких глазницах. «Помоги, Господи, выпутаться отроку из смертных пут, вороти его нам живым и невредимым...» — мысленно молил он Всевышнего, не сводя глаз с больного. Тот вдруг затих, задышал редко, ровно, глубоко. Перекрестив его, Климент воротился к креслу. Уселся. Взял книгу, отыскал нужную страницу, нашарил взглядом недочитанную строку, но читать не стал: то ли вдруг подскела его нежданная мысль, подскела и уманила, увела отсюда, то ли наплыла дрема, стреножив разум и притупив чувства...

Вдруг Климент вздрогнул, оборвал думы. Повел глазами и тут же увидел нацеленные на него горячечно сухие, воспаленные большие и выпуклые глаза больного. Проворно вскочил Климент, подступил к нише, склонился над изголовьем очнувшегося.

— Ты кто? — еле внятно пролепетал тот.

— Господи... Заговорил... Очнулся... Слава тебе, всевышний и всемогущий Боже... — Поворотясь к иконостасу, трижды перекрестился. Снова склонился над больным. — Слышишь меня?

— Ты кто? — нетерпеливо, хотя и слабым голосом повторил больной.

— Игумен Климент.

— Климент... — В глазах и на лице смятение и беспомощность. Потом их стерло напряжение: больной тужился осмыслить услышанное. Не смог. Жалобно, слезливо спросил: — Где я?..

— В Пельымском монастыре, — как можно мягче и увещательнее ответил Климент. — Не волнуйся. Здесь все — твои друзья...

Больной обессиленно смежил веки и надолго затих. По дрожанию сомкнутых ресниц и кривящимся губам можно было догадаться, что он не уснул, не впал в беспамятство, а всего скорей силился переварить услышанное. Разлепились, разомкнулись веки.

На кашеевом лице глаза казались неправдоподобно огромными.

— Пить...

Пил долго, жадно, обливаясь и захлебываясь. До тех пор, пока не задохнулся.

— Почему я здесь?

— Об этом после. Скажи свое имя и звание...

В глазах больного отчуждение и испуг. Страх притиснул его к стене, скрючил.

— Напрасно пугаешься. Здесь нет врагов. Здесь ты в полной безопасности... — Подождал, не откликнется ли больной. — Отдыхай. Скоро принесут ужин.

— Давно я здесь? — спросил, не открывая глаз.

— Вторая неделя на исходе.

— От города далеко?

— Тыща верст. По воде. На север...

— Кто меня сюда?

— Я...

Глаза стали еще больше, и такая боль души проглянула в них, что игумен отшатнулся. А больной вдруг зарыдал надорванно и громко, конвульсивно содрогаясь всем своим изможденным телом. Иногда из беспамятно истерического воя отчетливо выклинивались отдельные слова, но как ни напрягался Клемент, не смог свести их воедино. Больной припадочно бился, а Клемент беззвучно молил всевышнего смирить и успокоить несчастного. Бог, видно, внял молитве: больной стал медленно успокаиваться. Всхлипывал, жалобно подскуливал, кусая губы, но уже не бился. Наконец, он совсем стих, отворотился к стене, замер...

Клемент постоял над ним в раздумье, подошел к вделанному в стену шкафчику, взял из него кружку, чего-то насыпал в нее, из кувшина налил воды.

— Испей! — повелел больному. — Уснешь. Поговорим, когда пробудишься. Пей. Пей...

Длинно и судорожно втянув воздух, больной слегка приподнял голову, припал губами к посудине и долго, невероятно долго пил, не отрываясь. Еле внятно пробормотал:

— Спасибо.

Обессиленно повалился на подушку. И тут же заснул.

Клемент постоял над ним, пошептал молитву, медленно вышел из кельи...

3

Он проспал почти сутки: Открыв глаза, увидел испещренный черными трещинами, низкий каменный купол потолка. Долго изучающе разглядывал его, что-то соображал. Потом, резко повернув голову, увидел иконостас с налоем, высокую узкую прорезь окна с овальным верхом, конторку с двумя горящими на ней свечами. Склонясь над конторкой, что-то неторопливо писал Клемент, то и дело окуная гусиное перо в глиняную чернильницу. Не поворачивая и не прерывая занятия, Клемент тихо спросил:

— Проснулся?

— Да, — еле слышно откликнулся больной.

— Вот и славно...

Распрямясь, медленно подошел к лежанке, присел в ногах.

— Соберись с силами, отрок, обскажи, кто ты и что с тобой приключилось...

Он ждал вопрос, готовился к ответу и все-таки заговорил не сразу. Не потому, что сомневался в доброжелательности своего спасителя, а потому, что боялся шевельнуть недавно пережитый кошмар, не решался прикоснуться к страшной ране, ибо знал: любое касание вызовет такую боль, которую не сдержать в себе, и она непременно прольется слезами, а плакать было стыдно: он же Зыков. Укрепив себя этой мыслью, собравшись с силами, заговорил короткими неоконченными фразами:

— Меня зовут Евгений. Я сын Зыков... Дьяка... Владислава Феофиловича... — Всхлипнув, конвульсивно дернулся, но перемог, осилил нервический приступ, и хоть еще медленнее, еще тише, а все-таки продолжал: — Мы с отцом поехали в Петербург... к бабушке... Она занемогла... За переправой в лесу на нас напали. Слуг и кучера убили. Нам завязали глаза, скрутили руки и увезли. Думали, разбойники или татары. Ночью меня притащили в какую-то камеру. Там... к потолку привязан батюшка мой. Допрашивал его князь Лебедев.

— Лебедев?!

Клемент даже привскочил. Недобрым жаром полыхнули глаза. На худощавом выразительном лице сперва отразилось изумление, потом злорадство и, наконец, жестокость. Изловив себя на этом неожиданном переломе чувств, Клемент нахмурился, усилием воли унял вспыхнувшие было страсти, воротил на лицо выражение скорбного внимания и сочувствия. Пытливо глянул на юношу: не приметил ли? Тот пристыл взглядом к низкокому сводчатому потолку и, ровно в бреду, говорил:

— Батюшка сказал... Князь Лебедев изменил государю... Мздоимец... Вор... Замыслил отринуть Сибирь от Руси... О том батюшка и вез челобитную императору... Кто-то выдал...

— Повремени чуток. Передохни. Испей... — ласково проговорил Клемент, подавая медную кружку с какой-то темной пахучей сладковатой жидкостью.

Одним духом, не отрываясь, Евгений опорожнил посудину. Приятное, расслабляющее тепло разлилось по телу. Сонно полуприкрыв глаза, Евгений снова заговорил, медленней и тише прежнего:

— Когда батюшка... привязанный... он был... он был... не шевелился... только говорил... Сказав об измене Лебедева, повелел мне молчать... не унижаться... Князь... Князь... приказал... Палач вырвал я-я... яз-зык... Батюшка...

— Упокой душу, Господи, раба твоего, великомученика Владислава... — проникновенно и жарко выговорил Клемент, крестясь. — Прости его вольные, невольные прегрешения в деле, слове, помышлениях... Прими в царствие свое...

Евгений тоже перекрестился, хотел что-то сказать, вдруг слезы брызнули из его глаз, он ткнулся искривленным ртом в подушку и зарыдал, плач и причитания переросли в истерику, которая завершилась кратким глубоким обмороком.

Когда Евгений очнулся, Клемент снова напоил его каким-то зельем. Потом спросил:

— Что ж приключилось позже?

— После?... Не знаю... Не помню... Ни-че-го...

Долго молчали. Нестерпимо долго. Это было тягостное молчание — преодоление какой-то незримой, но крепкой преграды, вознесшейся вдруг меж ними. Слышно было, как сухо потрескивают горя-

щие на конторке свечи, как отдаленно и глухо поуркивает за окном ветер. Клемент морщил лоб, дыбил брови, шевелил уголками губ: думал.

Две недели назад он был в губернской столице у митрополита Сибири. Беседа с духовным пастырем сибирским была долгой и обоюдно приятной. Митрополит со вниманием и благосклонно отнесся к нуждам Пельымской обители, пообещав удовлетворить все просьбы Клемента. В обратный путь решено было трогаться ночью на монастырском баркасе под парусом и с двенадцатью гребцами. Плыть предстояло вниз по реке, путешествие предвещало гребцам малую нагрузку, и те собирались в путь проворно, весело. «Прихватите меня у кремлевского мыса, — сказал Клементий кормчему, — попробую зачерпнуть стерлядки на ущицу».

Рыбалка удалась: в мешке ворочалось десятка три крупных стерлядок. Клемент выжидательно поглядывал в сторону, откуда должен был показаться монастырский баркас, как вдруг рядом с лодчонкой, едва ее не зацепив, в воду бухнулось что-то большое и тяжелое. Несколько мгновений спустя упавший предмет всплыл, и игумен увидел человеческое тело. Нелепо и вяло трепыхнувшись, оно стало медленно погружаться в воду. Едва не опрокинув лодку, Клемент подхватил тонущего, вытащил из воды и немало поразился, разглядев подростка в дорожной одежде. Попробовал привести несчастного в сознание — не смог. Подождет ли кто сверху, не покажется ли на берегу — не дождался. Тут подплыл монастырский баркас. Клемент уложил беспмятного в свою палатку, потом перенес в свою келью и стерег от сторонних глаз и ушей. Любопытствующим тогда же сказал: «Поручили больного порчей, авось в святой обители исцелится». Слава Господу, надоумил. В этом павшем в реку подростке была какая-то чудовищная загадка, решил Клемент, едва выловив тонущего, и не ошибся.

Клемент глядел в пол, еле приметно раскачивался и думал... «Дивны дела твои, Господи, дивны и непредсказуемы, непредугаданы. Не иначе по приказу князя скинули беспмятного отрока с мыса в реку на верную, неприменную погибель. Но Бог судил иначе. Смиловившись Всевышний, отвел руку с косой. И что же теперь? Дойди до Лебедева малый намек на то, что отрок жив, тут же нагрянут слуги княжеские, вырвут из жизни мальчика, в землю втопчут. И меня, коль заподозрит, что вьюнош открылся, — не пощадят. И ни Бог, ни митрополит, — никто не отвратит беду. Зело пакостлив и свиреп князь Лебедев. Не минут его божий суд и государева кара. Но пока прольется эта черная кровь, сколь праведной святой крови выпустит злодей... Господи, пронеси и помилуй... Надо бы смиренно и тихо молить тя о спасении души князя-мучителя, а я упи-

ваюсь богопротивными мыслями о его казни. Недостоин еси называться слугою твоим. Недостоин быть пастырем вверенного мне стада. Отвратны и греховны помыслы мои. Прости мя, великий, всемогущий и всемилостивейший. Прости, и помилуй, и вразуми, как сохранить невинную безгрешную душу несчастного отрока...»

Евгений догадывался: о нем думает Клемент. Трудно думает. Трудно и тревожно. И тревога эта из души Клемента переливалась в юную раненую душу Евгения, бередила страшную рану. С отчаянием всматривался Евгений в затуманенный, застывший лик своего спасителя и трепетал. Чужал: в эти минуты решается его судьба. И все более напрягаясь и нервничая, ждал приговора.

Клемент успокаивающе погладил Евгения по руке, сказал твердо и спокойно:

— Обратного пути в мир тебе нет. Пока князь Лебедев жив и в силе, даже тень твоя не должна коснуться ни ушей его, ни глаз. И здесь имя твое должно быть никому неведомо. Ты где-то обронил память. Вполне возможно, у тебя ее вовсе не было. Хоть здесь и святая обитель, и далеко мы от губернской столицы, а у монастырских стен есть уши, есть глаза, язык же и у ветра сыщется. Запомни навеки: Евгений, сын Владислава Зыкова, сгинул вместе с отцом. Нет его!.. Завяжи этот узелок намертво и забудь! Твоя жизнь и судьба — в твоих руках...

Сейчас на тебя навалится монастырская братия: кто?.. почему?.. зачем?.. откуда?.. Под пыткой даже, на костре и на дыбе тверди: «не знаю», «не ведаю», «не помню»... Слышишь? Не знаю!.. Не ведаю!.. Не помню!.. Учись у отца. Памятуй о нем. Великой мудрости, святой человек... Молю тя: молчи!.. не сгуби себя... Не сгуби!.. Тут и малый намек, и слабое подозрение суть еси гибельны... Ни роду, ни племени своего ты не ведаешь... Вянул ли сие?..

— Да, — глухо откликнулся Евгений.

— Будешь послушником. Приставлю тя надзирать за мальми инородцами, кои пасутся в монастырском интернате. Наречем тебя Евгешей. Привыкнуть к сему не трудно, ибо Евгеша суть Евгений. И сие уразумел?

— Да...

— Дам тебе Евангелие. Читай. Каждый божий день читай. Постигай глыбы мудрости и запоминай поболее... Великая книга. Живущие по ней праведники богоугодные есмь...

И снова долгое безмолвие. Безмолвие уст и громкий говор сердец. Оба безмолвно, но дружно и скоро, возводили незримый, но прочный, долговечный мост от души к душе.

— Инородческий интернат на отшибе, — деловито и спокойно, будто и не было никакой паузы в разговоре, сказал Клемент. — Монахи брезгают якшаться с самоедами. И отменно сие: мене вокруг



тебя всевидящих очей, всеслышащих ушей. Чурайся их. Ни ласке, ни угрозе, ни боли не уступай! А чтоб поскорее отстали с расспросами, прикинься блажным. Ну, к слову, пристали к тебе с вопросом: «Евгеша, откуда ты к нам?» А ты в ответ реки: «Откуда пришел, туда и уйду, начало и конец едины». Сие суесловие — пустомыслие и пустомелие, но в нем есть нечто загадочное. На святой Руси паче всего чтут тайну и загадку. Без них русской душе не вмоготу. Чем более нелепого будет в словах твоих, тем краше и вольготнее станет тебе. Тем дале будешь отходить от истины. И недругов, явных и тайных, увлечешь за собой. Ясно ли глаголю?

— Ясно.

— Поживешь у нас, окрепнешь духом и телом, изменишь лик... Вижу, пробивается на лике твоём порось, ужо научу, как ее рост убыстришь. Станешь бородат да усат, власы длинные отрастишь... Посмотрим, порешим опосля, как дале... А об домашних твоих я разведаю. Разведаю и тебе дам знать... Аминь...

глава третья

Белая ворона

До сердечной боли, до сладких слез трогательны были эти три тонкие, гибкие березы, выскочившие на опушку дремотного старого бора, на самую кромку крутого приречного яра. Они казались дозорными огромной колючей рати, что несокрушимо и воинственно темнела за их спинами.

Замерли разведчицы на крайней черте рокового обрыва, словно бы упреждая об опасности идущих следом. Те остановились в нескольких шагах и так стоят уже не дни, не годы — века; и все это время три березки первыми принимают на себя наскоки пронзительных, студёных северных ветров, первыми подставляют грудь под косые струи шквальных метелей и ливней.

Что-то в этих трех белянах, оторванных от бора, одиноких, тонких, гибких, но непокорных, что-то в них притягивало и волновало Евгения. Скорей всего, единение беззащитной обреченности с негнучей упорной волей к жизни. Юноше мнилось сходство собственной судьбы с судьбой трех белых сестер, и потому, в тягостные минуты глухого безнадёжья, черного отчаяния и тоски бежал он сюда, обнимал березу, припадал лицом к стволу и выплескивал душевную боль, а освободясь от нее, очистясь, падал в траву и забывался, отплывая от сурового горького берега к далеким волшебным берегам голубых фантазий...

Мечты — единственно, что хоть как-то скрашивало его унижительное постылое монастырское прозябание. Мечты да беседы с Клементом, который неусыпно пас новоявленного послушника и, заподозрив худое настроение подопечного, спешил с ним свидеться. Обычно это случалось как бы ненароком, в самых неожиданных местах: частые встречи в келье настоятеля лишь усилили бы нездоровое любопытство, обострили зависть монастырцев к безвестному иноку, который бог весть как и почему оказался вдруг в Пельмской обители...

Только издали для несведущего глаза могли показаться одинаковыми люди, населявшие этот таежный святой уголок. Братья во Христе разными путями пришли сюда, чтоб за монастырскими стенами спрятать кто обиду, кто боль, кто преступление, кто порок. Лишь самую малую часть из них привела сюда любовь к Богу и жажда ему послужить, положив к алтарю его не дорогие дары и подношения, а собственную жизнь.

Среди монастырской братии имелись опальные вельможи разных рангов, коим пострижение в монахи заменило мученическую кончину на колу, подкнутом, на дыбе. Эти держались особно, своим кланом, лишь для видимости почитали монастырское начальство и устав, зато постоянно пополняли монастырскую казну дорогими дарами и золотом, поступающим сюда от высокородных родичей, оставшихся в миру.

Были тут и самоуком прорвавшиеся к божьему слову страстные приверженцы-пропагандисты, и ревнивые толкователи библейских и евангельских мудростей, книжники и начетники, немало преуспевшие в приобщении инородцев к вере Христовой, в сохранении и переписи древних летописей.

И была чернь. С мозолистыми ладонями, железными мышцами молотобойцев и бурлаков. Она мало что смыслила в законах и заповедях божьих, зато умела пахать и сеять, корчевать и косить, класть стены, сушить, коптить, солить, вялить...

У каждого клана был свой вожак.

По значимости рода своего Евгению надлежало быть в первом привилегированном клане. По грамотности и владению словом его приняли бы в свой круг и книжники. Но родословную Евгения никто не ведал, монастырской казне от его присутствия прибытку не поступало, оттого избранные смотрели на Евгения как на предмет неодушевленный, не устаивая его ни словом, ни взглядом. А толкователи Ветхого и Нового заветов и иных, несть им числа, священных писаний, отнеслись к грамотности Евгения иронически, ибо то была грамотность светская, далекая от религии и православного вероучения.

Так оказался Евгений щепой в проруби. И хоть не пилил и не копал, а лишь надирал за учениками инородческой школы да помогал им готовить уроки, все равно своим местоположением в монастыре он ближе всего был к третьему, черному сословию.

Ближе, но не с ними, ибо казался белым в их черной стае, и за то они всячески притесняли, травили чужака. Речь, манеры, походка — все выдавало в Евгении образованного, благовоспитанного, а не просто обеспеченного человека. Из его тонких, прозрачных рук вываливался заступ, вырывался топор, но зато как ловко эти руки держали перо, как красиво и грамотно писали, сплетая из букв дивные узоры ровных, аккуратных, четких строк. Ученики монастырской школы-интерната ходили за Евгением, как цыплята за клушкой, разиня рот, слушали его рассказы о диковинных дальних странах.

Каких только вымыслов, порой прямо-таки невероятных, не рождалось в стенах монастыря относительно личности таинственного молодого послушника. Монахи липли к Евгению с расспросами. И хотя делал это внешне вполне благопристойно: язвили — невинно, злословили — случайно, насмехались — безгрешно, тем не менее не однажды до-

водили Евгения до истерики, и не будь за его спиной всемогущего Клемента, затравили бы вконец.

Руководствуясь советом спасителя своего, Евгений отвечал любопытствующей братии иносказательно, невнятно, вроде бы загадочно, но по сути бессмысленно. «Откуда ты?» — «Оттуда, что и все. С того же начала, к тому же концу...» — «Кто ты?» — «Грешен есмь. Буен zelo. Страждущ и жаждущ...» Поначалу такие ответы озадачивали, их пытались расшифровать, передавали из уст в уста, сгущая атмосферу таинственности вокруг новичка. Но скоро к ним попривыкли и лезли с расспросами ради забавы.

Больше всего Евгению досаждал вожак низшего клана — монах Феофил с физиономией орангутанга. На широком, скуластом, плоском лице — две широкие ноздри, глубоко посаженные, маленькие, черные, прилипчивые и очень подвижные глаза, мясистый рот полон крупных, крепких белых зубов. От природы Феофил сообразителен и хитер. Столкнувшись с Евгением где-нибудь в укромном уголке, без свидетелей, Феофил непременно больно щипал, пинал или отвешивал такого тумака, что у Евгения слезы катились из глаз и долго ныло то место, к которому приложился Феофилов кулак. На людях же Феофил был елейно почтителен с Евгением, величал его Евгешей блаженным и лез с глумливыми расспросами.

Обычно Евгений спасался бегством, но иногда Феофил с шайкой своих приверженцев загонял несчастного в глухой угол, и там, тесно окружив, тыча в него, щипая и попинывая, они глумливо домогались ответов все на те же вопросы. Угрюмое молчание Евгения распалало, бесило Феофила и его компанию. Они начинали требовать от Евгения, чтоб доказал свою принадлежность к мужскому полу, похотливо лапали его за непристойные места, осатанело выкрикивая: «Да девка же он! Истинный бог, баба!..» Или объявляли его дьяволом-искусителем и начинали плевать на него, не забывая при этом осенять его крестным знаменем и сами крестясь.

Наверное, они-таки загнали бы Евгения в петлю либо принудили бежать из монастыря, если бы не странный случай... Весной это случилось, первой монастырской весной послушника Евгеша... Снаряженная на рубку лес ватага монахов, предводительствуемая Феофилом, по пути на лесосеку столкнулась с Евгением, и тут же к нему прилип Феофил. С дурашливым полупоклоном приблизясь к Евгению, прогундосил:

— Благослови, блаженный, на труд праведный, богоугодный...

Евгений хотел было пройти, не останавливаясь, да Феофил, проторно заступив путь, возопил:

— Пошто презираешь чернь, аль роги на нашей башке зришь? Наперед ощупай свою голову. Не проросли аль... А-а? Нашупал?..

Монахи, гогоча, накинулись на Евгения и принялись дубасить его по голове, дергать за волосы, азартно выкрикивая:

— Нашупал!..

— Вот оне!..

— Чур мене!.. Чур!..

— Черт в монашеской рясе!..

— Отриньте! — скомандовал Феофил. Монахи прянули от Евгения. — Сейчас мы глянем снизу. Нет ли там хвоста. А ну! Задери-ка подол.

Вместо того, чтобы возражать, отбиваться или звать на помощь, Евгений вдруг, по-сумасшедшему округлив глаза, хрипло выкрикнул:

— Не пялься на недоступное! Рядом глянь. Подле ты стоит, косу точит... Ишь, намахивается. Сейчас отсечет. Истинный бог, отсечет. Р-р-раз, и нет головушки!.. Держи... Держи голову-то... Эх ты!.. Не удержал!..

Лица монахов испуганно вытянулись, Феофил не то смутился, не то трухнул и, злобно буркнув сквозь зубы: «Ужо возвращаюсь, отломлю башку тебе», — поворотился спиной к несчастному, и вслед ему ватага двинулась прочь. А несколько часов спустя на лесосеке упала подпиленная сосна, насмерть придавив Феофила. Потрясенные монахи тут же припомнили слова Евгения, ставшие вдруг пророческими.

И заметелила вокруг Евгения молва, сплетая воедино быть и небыть. В короткое время стал Евгеша знаменит: Привлеченные им, повалили в монастырь жадные до чуда православные. В это лето их было приметно больше обычного, и даров святой обители привезли они куда боле прежнего, и каждый непременно хотел повидать Евгешу-блаженного, поговорить с ним с глазу на глаз.

Повинуясь Клементовой воле, Евгений терпеливо выслушивал жалобы и молитвы скорбящих, кающихся и просящих, выслушивал и каждому говорил что-нибудь, чаще всего цитаты из «Екклезиаста». И чем путанней, непонятней и загадочней были его слова, тем с большим благоговением встречались паломниками, запоминались и разносились далеко-далеко за пределы губернии, умножая славу Пелымской обители...

2

Северное лето нарождалось поздно, умирало рано. Оттого и спешило все живое за короткое тепло власть погулять, понежиться, отцвести, и вызреть, и род продлить.

Разгоралось лето медленно, как костер под дождем, а разгоревшись, полыхало жарким полымем. Бываем в июле такая жарница — ни спасу, ни сладу. Мелеют речки. Высыхают болота. Таежные мшаники становятся хрупкими, как тонкое стекло. Прокаленная, до звона высушенная тайга похожа на исполненное костровище, готовое полыхнуть от любой малой искорки. Отягощенный болотными испарениями, парами горячей смолы, дурманным духом багульника и созревших от зноя трав, таежный воздух кажется зеленым и липким. Нет прохлады ни в сосновых борах, ни в густых зарослях молодняка, даже в глубоких, темных буераках, где всегда гнездится погребная свежесть, даже там глухо и душно, как в парной.

В полуденный зной вся таежная живность ищет прохлады, птицы и те сомлело смолкают, и лес кажется пустынным, забытым, как покинутый храм. А едва зной пойдет на убыль, неведомо откуда всплывают над землей живые тучи неумолимого, глумливого, осатанелого гнуса: комаров и мошек. Они набрасываются на людей, на животных, на птиц, доводя до исступления даже собак...

И все же жители таежного севера радовались лету. Обливаясь потом, отбиваясь от гнуса, торопились они за короткое тепло к долгой, суровой зиме

изготовиться: впрок запастись дров и сена; насолить, навялить рыбы и дичи, набить кедровых орехов; засушить ягод да грибов, да целебных трав и кореньев. А еще надо было успеть что-то подлатать, подправить, заменить, подновить... мало ли прорех в любом подворье, которые можно и нужно латать только летом.

Долгожданно, желанно, да уж больно коротко северное лето. Ах, как коротко; в трудах да хлопотах промелькнет — не заметишь, было ли? Мелькнет и канет. И если разгорается оно медленно, исподволь, долго и нудно шает, пока полыхает, зато уж гаснет — вдруг, бывает и в одночасье... Такой час-перевертыш нарождается ярким да жарким; полпути пробежит — насупится, дохнет холодком, а к исходу своему такую метелицу раскочегарит — любой заплот прошьет, какой угодно армяк либо шабур пронижет.

На то она и Сибирь-матушка...

На то он и Север-батьюшко...

Загодя испросив разрешение, Евгений еще с вечера вместе со своей артелью из пятерых учеников инородческой школы приготовил все нужное для рыбалки. За год монастырской жизни он пристрастился к этому промыслу: тот притягивал не добычей, а возможностью покинуть на время монастырь, уйти от изуверских шуток Феофиловых дружков, которые не оставили надежды и готовы были заложить душу дьяволу, лишь бы выведать: кто таков, откуда и почему оказался в монастыре? В кругу послушных маленьких инородцев, среди доброй и ласковой природы Евгений отдыхал душой и телом, отдыхал не без пользы для святой обители: с небольшой артелью подростковых учеников он обеспечивал свежей рыбой кухню монастыря...

В этом высоком и тонком, бородатом, жилистом монахе вряд ли узнала бы Евгения даже родная мать. От того ополоумевшего от ужаса подростка, который истерично бился в железных, беспощадных руках палача Парфентия, остались только глаза: очень большие, круглые, матово поблескивающие, все остальное не то чтобы изменилось, а прямо-таки переродилось, став неузнаваемым до невероятия...

Евгений и его маленькие артельщики после вечерней молитвы сразу легли спать, а глубокой ночью Евгения разбудил вой ветра.

Иностранческая школа-интернат размещалась в специально построенном бревенчатом домике подле конюшни. В отличие от камня, дерево дышит, имеет слух и голос. Пробудившись, Евгений долго прислушивался к непонятным, странным голосам захлестнутого непогодой старого дома. Тот скрипел, кричал, стонал, словно бы жалуясь на свою старость и беспомощность. По гулу ветра Евгений определил, что ветровые валы катились на монастырь с реки, с

низинной северной равнины, и тут же в его сознании эти воздушные валы обрели цвет и форму морских волн, которые с треском и грохотом перекатывались через каменные стены, продирались в узкие бойницы и, вновь слившись воедино, накрывали монастырские постройки, заполняя потаенные уголки и закоулки. Зажатые стенами монастыря, волны осанело бились о камни и бревна, слепо и сильно хлещя по чему попало. Казалось, вот сей миг бушующая за окном стихия ворвется в дом и погребет их всех в своей пучине. Чтобы как-то отвлечься, успокоиться, Евгений принялся настойчиво ворошить память, воскрешая видения матери, сестры и княжны Елены — своей первой любви. Мать почему-то

явилась ему сидящей за клавином, и сколько он ни силился, так и не добился, чтобы она оторвалась от инструмента, повернулась к сыну лицом. Десятилетняя сестра привиделась недовольной, с красными полными слез глазами. Такой она была в минуты их расставания, обиженная на то, что отец не взял с собой к бабушке, в Петербург...

Замолотило, зашпешило сердце, едва нарисовался в памяти образ Елены. Но как только услужливая и покорная память воскресила хрупкий, нежный облик девочки-княжны, так сразу же рядом с нею являлся и ее отец, князь Лебедев: нафабранный, надушенный, щегольски одетый, выхоленный вельможа.

Тут память бунтовала и рвала поводья, и непокорная, и яростная загоняла Евгения в проклятый каменный склеп со сводчатым потолком. Жуткий черный склеп походил на колокол, в центре которого чудовищным языком раскачивался на дыбе замученный отец, а в темном углу, вжавшись в кресло, сидел Лебедев. И сразу внутри Евгения зародился клокочущий, раскаленный голос отца и, нарастая, загремел колокольно, заглушая все звуки мира: «Мы в руках заклятого врага государя и России! Этот злоумышленник и тать замыслил от Руси отринуть Сибирь. Хотел я правду о нем государю поведать. Кто-то предал... Князь мнит твоею кровью, муками твоими понудить меня к измене Родине...» Тут связная речь обрывалась, и уже, как взрывы, гремели отдельные слова: «Иуда!.. Шакал!.. Проклят будь...» Потом чудовищный хруст. Вопль. Ненавидящий сатанинский голос: «Закрой зенки, гаденыш!» И черная стена беспамятства, в которой ни малой паутинки-трещинки, ни единой пробоинки...

Очнувшись от обморока, Евгений вдруг устыдился, впервые устыдился своей слабости, устыдился и озлился на себя. И как-то удивительно отчужденно и трезво, будто кому-то постороннему, приказал себе:

— С этим кончено... Ни слез... Ни стонов. Ни обмороков... Я должен отмстить негодяю!.. За себя... За отца!.. За всех!..



Как отомстить? — об этом Евгений даже не задумался. Безвестный послушник решил вдруг на смертельный поединок с всемогущим некоронованным царем Сибири. Ни малейшего опыта борьбы. Ни сил. Ни поддержки... Ничего не было за спиной Евгения. Но эта неопытность, неосознанная беспомощность и порождали слепую неодолимую уверенность в достижении задуманного. Неотягощенное жизненным опытом, легко возбудимое юношеское сознание тут же породило много способов расправы со злодеем.

Вот Евгений тайно возвращается в родной дом, находит список отцовского послания государю, мчит с бесценным доносом в столицу, к царю. Вручает послание в царские руки, повествует об отце — и грядет желанное возмездие, суровая кара настигает изменника и душегуба...

Или, воротясь в город, он легко и скоро проникал в дом князя Лебедева, подстерегая изменника в его кабинете и, высказав всю правду, убивал предателя. Или...

Ах, как упоительны, как желанны были эти мстительные грезы! Евгений прямо-таки пламенел, ему казалось, нет цели жизни более благородной и достойной, нежели торжество справедливости, которое достигалось единственным путем — отмщением. Он обязан отомстить... Он отмстит... Любуйся же... Даже если это будет стоить собственной жизни...

За бревенчатой, туго проконопаченной черной стеной урчал, скулил и гукал ветер, но Евгений уже не думал о непогоде, ожесточась и разгневавшись на себя, снова и снова повторял сухим злым голосом:

— Все!.. Все!.. Все!.. Ни слез... Ни охов... Мечь... Только мечь.

С тем и поднялся. Бесшумно и проворно надел с вечера приготовленную одежду. Постоял, прислушался к ветровой разноголосице за стеной. В такую непогоду о рыбалке нечего было и думать, потому и не стал будить маленьких помощников, накиннул поверх старенькой рясы тяжелый грубошерстный армяк и вышел, не скрипнув ни половицами, ни дверью...

Он не ошибся: ветер катил с близкого Севера, и не порывами, не наскоками, а лавиной. Низкое, темное, почти черное небо закидано лохмами рваных туч. Август едва перевалил за половинную черту, в России молотили хлеба, стлали холсты, еще купались, а здесь уже ломилась в ворота сырая, холодная северная осень.

Выйдя за монастырскую ограду, Евгений скоро оказался на самом острие врезавшегося в реку высокого крутого мыса, лицом к низинному левобережью, к Северу, который и породил, пригнал сюда этот сногшибательный ветрище. Начав разбег где-то под боком Северного ледовитого, разогнавшись по-над тундрой, набрав скорость и силу, ветровая лавина накатывала на укрывшую монастырь тайгу. Как всегда, самый оголтелый ветровой натиск пришелся на те три березы, что кучно, едва не касаясь друг друга стволами, стояли дозором перед исполинской колчужей ратью. Ветер заломил белые стволы, согнул и, не давая распрямиться, сдирал с них зеленую одежду. Подмятые беляны заволокло бились, трепыхались, роняя наземь яркие лоскутья летних нарядов, цепляясь друг за друга, но распрямиться не могли.

Река и небо были схожи цветом. Белые мазки на

угрюмом низком черном небе. Белые буруны на черной воде. Казалось, с небесной выси пал на землю исполинский занавес, — застиранный и грязный, пал и отсек от мира ошетилившийся бором яр, спрятанный в тайге монастырь и эти истязуемые ветром березы. Ветер насилывал их, ломал и калечил, и глядя на них, согнутых и трепыхающихся, Евгений ощутил прилив необъяснимой, но острой боли, и тут же память воскресила прокопченную каменную утробу пыточной: пляшут по грязным стенам кровавые блики, мерцают раскаленные угли горна, медленно раскачивается распятый на дыбе отец...

Евгений окаменел. Потом подхватил рогатину, валявшуюся на земле, метнулся к истязуемым березам. Поддел сухой жердиной самую тонкую, самую измочаленную, поднатужась, распрямил деревцо, подпер, воткнув конец рогатины в землю. Ветрище неистово рвал, трепал подпертое дерево, но согнуть не смог. Евгений встал рядом с распрямившимся деревцем, смахнул с головы камилавку, подставив ветру длинные темные волосы. В эти минуты он воспринимал ветер как единственного и главного своего противника, не одолев которого, не видать ему родного гнезда, красивой и вольной жизни, желанной и недосыгаемой Елены. И если бы в этот миг перед ним вдруг предстал сам Лебедев, Евгений не раздумывая кинулся бы на врага...

В тайге ветер был почти неосязаем, только гул его, тревожный и грозный, властно подымая все лесные звуки, набатно гудел в вышине. Многочисленная таежная живность схоронилась в траву, норы, дупла и затаилась, замерла. За год в монастыре Евгений не только перечитал груды богословских книг, выучил сотни псалмов и молитв, познал каноны всевозможных церковных обрядов и служб, но и научился, все-таки научился работать топором, молотком и лопатой, мог запрячь лошадь и управлять ею, на утлом челноке легко одолевал широкую и быструю реку; привык, притерпелся к простой грубой пище, к холщовому белью, к неожиданным наскокам и подвохам черной братии. Монастырская жизнь приметно опростила его, огрубела, он овладел речью простолоудинов, но, как и прежде, боялся лесу, терялся в нем и всячески уклонялся от походов с братией по грибы, либо по ягоды, или по орехи. И теперь, ступив в тайгу, он лишь поначалу, пока не схлынуло возбуждение, шел легко и слепо, не прислушиваясь к потревоженному непогодой лесу, не озираясь. Но едва возбуждение поослабло, как он тут же и насторожился, пошел как по ночному вражьему стану: хрустнет сучок, шлепнется в мох кедровая шишка — он уже вздрагивает, замирает, будто гончая на стойке, и так недвижимо стоит до тех пор, пока не угадает источник звука или не застывает от неумолимости скованное страхом тело.

3

Из губернской столицы Клемент возвратился поздним вечером. До полуночи просидел за беседой с приближенными, поведаль им губернские новости, передал советы и наставления митрополита. Проводив гостей, долго молился, уснул где-то близ рассвета. Но пробудился, как всегда, прежде всех, поднял с постели келаря, перемолвился с привратником, от

которого и узнал, что Евгеша чуть свет ушел куда-то, похоже, на реку.

— Один? — уточнил Клемент.

— Един, — откликнулся привратник.

— Без снастей?

— С пустыми руками.

Выйдя из ворот, Клемент сразу направился к тем трем березам, подле которых не однажды встречал Евгения. По еле приметной тропе во мху Клемент шагал легко и проворно, чуть-чуть опираясь на длинный крепкий посох. За гулом непогоды, наплывавшем сверху, Клемент и сам не слышал своих шагов.

Они встретились на полпути к реке. Узнав Клемента, Евгений обрадованно заспешил навстречу. Поцеловал протянутую руку. А когда Клемент легонько полуобнял юношу, тот по-родственному припал к широкой крепкой груди, проговорив дрогнувшим голосом:

— С благополучным возвращением. Как вы доехали?

— Бог миловал. Погода благоволила нам. Деяния и замыслы наши митрополит благословил. Мыслит в скором времени нас навестить. О тебе интересовался...

Евгений вздрогнул, сжался. Клемент успокаивающе погладил его по плечу.

— Успокойся. Он не ведает и не подозревает. Дошла молва о молодом пельмском монахе, которого господь наделил даром провидца, вот и полюбопытствовал...

Неожиданно оборвав речь, прислушался к чьему-то. Вздохнул. Перекрестился. Проговорил глуховатым, донным голосом:

— Дивны дела твои, Господи. Неведомы и непредсказуемы... Отца твоего и тебя объявили погибшими от рук татар. Долго искали. Нашли вашу лодку и кое-что из утвари. Отслужили пышную панихиду. Государь назначил матери щедрый пенсioen. Бедная матушка твоя, Мария Ефимовна, вскоре отбыла с дочерью, сестрою твоей, не то во Владимир; не то в Ярославль, а может, и в Петербург, к отцовской родне, никто толком не ведает...

— Доехали ль оне? — жалобно вымолвил побледневший Евгений. — Может, их тоже... Как меня с папой...

— Полно... не гневи Господа. Великое чудо свершил он, вырвал тебя не токмо из рук злодея, но и из лап смерти. Возблагодарим Всевышнего... — Трижды перекрестился, склонил голову. — Ты о чем-то хочешь спросить?

— О губернаторе... — прошептал Евгений.

— Князь чем-то обеспокоен. Постоянно жалуетса на недомогание. Много молится, блюдет посты и все прочее. Поговаривает об отставке, но, мнится мне, сие для отвода глаз...

— Его надо убить! — не своим, чрезвычайно тонким голосом выкрикнул Евгений.

— Богопротивны слова сии есть, сын мой. Око за око, зуб за зуб — не к сему призывал Христос апостолов своих. Вспомни... Вспомни-ка... «А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот благородная стезя, коей следуют христиане...

— А этот!.. Этот... — Евгений задохнулся, трудно проглотив вставший в горле ком. — Убийца... Мучитель... Пусть живет?

— Токмо Бог волен судить. Он всем воздаст, — наставительно произнес Клемент, голосом и взглядом смиряя негодующего инока.

— Что станет там... — Евгений возвел глаза к низкому, мрачному, кипящему небу, — ...никто не узнает. Надо, чтоб люди... люди... Чтоб знали... верили... злодейство карается... обязательно!.. все-непременно!.. не только на небе, но и на земле!.. Здесь... Люди должны узнать правду об этом... этом...

Евгений замылся, подбирая такое слово, чтоб вместило в себя всю его ненависть, и презрение, и боль. Клемент выжидательно молчал, остужая взглядом разгоряченного Евгения. Перехватив этот взгляд, Евгений смехался, упустил нить мысли, просительно и жалобно взирая на своего наставника. А тот успокаивающе опустил руку на худое дрогнувшее плечо и тихо, будто помывлив вслух, молвил:

— Чтоб правду ведал народ, кто-то должен ее глаголить. Сие по силам лишь Богом избранным, ибо плата за правду непомерна.

— Не понимаю... — растерянно признался Евгений. — О чем вы?..

— Един был на Земле правдоносец божий, кой рек правду людям, за то оне и распнули его на кресте. Вестников правды жгли на кострах, им заливали горло расплавленным воском, гноили в тюремных казематах и монастырских кельях...

Запнулся, решив, что напрасно упомянул о монастырских кельях. Заглянул в распахнутые, настороженные глазича и еще медленней, с внезапной горстью:

— Правда — огонь. Несущий ее непременно сгорит. Токмо великий человек в силах быть правдоносителем и правдоборцем. Неуж мнишь себя великим?

— Не знаю...

И тише:

— Не смею...

Совсем тихо:

— Скажу...

И умолк, потупясь. Молчал и Клемент, не отводя изумленных глаз от необычно решительного лица послушника...

Короли и шуты, блудницы и монахи, светлейшие князья и навозные смерды — все люди, все человеки, коим ничто человечье не чуждо. И уж коли не в деяниях, то в помыслах всякий землянин не единожды преступал заповеди Христовы. И под архиерейским клубуком, и под монашеской рясой, и под смрадной сермягой нищего течет одинаковая кровь — красная, солоноватая. Неподкупно строго судя и сурово наказывая провинившихся, в душе Клемент был снисходителен к ним, оттого и незлопамятен. И теперь, вглядываясь в лицо Евгения, осуждая и карая его взглядом, в душе Клемент понимал, прощал, подбадривал юношу.

Евгений длинно и громко вздохнул, словно всхлипнул.

— Бог поможет мне покарать злодея...

— Ах, какой ты ребенок. Как мыслишь свершить свой приговор?

— Прoberусь в город... — торопливой скороговоркой посыпал было Евгений, но его тут же перебил Клемент.

— К кому явишься? Кто приют даст, кров и пищу? Друзья отца? Не раскрывшись, к ним не посту-

чишься. А раскрыться, значит погибнуть, не свершив задуманное. Кто-то из близких друзей отца предал его. Предал и тебя, не моргнув... У князя кругом глаза и уши. Все видят. Все слышат. У слуг его волчья хватка, а сердце из камня. Чем в лапы к ним, лучше в петлю... Прости, Господи, кощунственные речи сии... Мой тебе совет... Умерь зло. Уйми обиду. Залей огонь ненависти. Успокойся. Остынь. Молись. Кайся. Думай. Если Богу угодно, вразумит и направит. Одно запомни: путь к правде — путь на Голгофу. И да благословит Господь тебя на пути твоём...

— Благодарю, отец, — благоговейно выговорил Евгений, целуя осенившую его крестным знамением руку Клементя.

Тот обнял юношу за плечи, прижал и повлек с собой по тропе, говоря:

— Правда — хлеб души. Насущный и неприедаемый. Правда — родник животворный, вечно движущий и обновляющий жизнь. Поклоняющийся правде — благодарности достоин. Проповедующий правду — пророк. Душу положивший за правду — святой...

глава четвертая

На Голгофу

Похоже, заклинило, заело земную ось, вращение Земли вдруг замедлилось, оттого и тянулась эта ночь бесконечно долго. Сто раз пробуждался Евгений, карауля полуночный клич петуха, снова засыпал, опять просыпался, а ночь все не двигалась.

Была она тиха.

Морозна.

И неправдоподобно бела.

Бела от снега и луны.

Луна казалась на диво яркой, яростной; осиянные ею, переливались и сверкали белые пышные ризы кедров, сосен и елей. Будто осыпанные серебряной крошкой, высокие волнообразные сугробы белым пламенем полыхали под луной. Вокруг ночного светила, чуть поодаль, глыбились белые облака. Сугробы на небе, сугробы на земле; какие холодней и белей? — загадка.

Белое поверху. Белое понизу. Все, что меж ними — черно. Черные деревья. Черные дома. Черная церковь с огненным крестом на маковке.

По белому. По черному. По серебру. По золоту. Погуливает мороз. Не игривый, щекотный да румянящий морозец, а морозище щипающий, кусающий, проникающий до самой души. Навалился он на монастырь, на тайгу, на реку, на всхолмленную заречную равнину. Загнал в дупла, норы, избы и са-рай все живое.

Безголоса белая ночь. Немо сияние снегов. Беззвучен свет луны. И мороза поступь — бесшумна и бесследна. Но если долго, очень напряженно и долго вслушиваться в эту замороженную тишь, та вдруг начинала еле слышно звенеть далеким колокольчиком. Будто где-то (Бог знает, где) мчит куда-то (Бог весть, куда) шалая тройка (Бог ведает, чья) с колокольцем под расписной высокой дугой. Зазывно зве-

нит серебряный. Зовет и манит. Не поддавайся: уведет, заплутает, сгубит.

Тихо вокруг. Непередаваемо, неправдоподобно тихо. Даже чуткие свирепые сторожевые псы успокоенно дремлют, насторожив одно ухо и полуоткрыв один глаз. Тишина пахнет свежим снегом, ядреным молодым сеном, сырой рыбой.

Красными, желтыми, зелеными поплавками дрожат и колышутся далекие блеклые звезды. Кажется, они съжились от стужи и жалобно мигают. А луна, как разъяренная дебелая молодуха, сверкает глазами, полыхает гневным румянцем, пламенеет и трепещет.

Хрустнула ветка, не выдержав пудовой белой накипи, плюхнулась в сугроб. Не звонко хрустнула, не громко плюхнулась, а приворотного сторожевого пса потревожила. Тот вскинул тяжелую голову, долго приноживался, пошарил взглядом по сторонам, предостерегающе уркнул. Тут же ему откликнулись меньшие собраты, цеховые подмастерья, коротко пролаяв, словно бы прокричав: «Я тут! Я не сплю! Я стерегу и охраняю!..»

С треском, похожим на выстрел, распахнулась примерзшая дверь инородческого интерната. Взвизгнули петли. Три лохматых серых тени с разных сторон метнулись на шум. Едва завидя вышедшего на крыльцо человека, собаки умерили прыть, приветливо завиляли хвостами, легкой доброжелательной трусцой продолжая бег.

Евгений был в тонком подрыснике, с непокрытой головой, в растоптанных ветхих валенках с обрзанными голенищами. Ласково потрепал по загривку, погладил каждую собаку, оделив куском хлеба. Псы принялись жевать азартно и смачно, а Евгений, сойдя с крыльца, замер, как потревоженный архар, осторожно вбирая в себя до белизны промороженную тишь. Тех нескольких минут, пока он стоял, то ли к чему-то прислушиваясь, то ли на что-то решаясь, достало для того, чтобы мороз пролез под кожу, окатил холодом тело, остудил шею. Евгений торопливо перекрестился на церковь, вдохнул полную грудь колкого холоду и решительно скинул обувь. Ступни голых ног сразу болезненно пристыли к искристо-белой ледяной хрусткой мякоти, знобкая дрожь колыхнула тощее тело. Накатило неодолимое желание сунуть ноги в валяные калоши, и махом назад, за толстую певучую дверь, в тепло, в еще не остывшую постель. Мысленно Евгений вмиг проделал это, и от несоответствия воображаемого с реальностью боль в ногах стала сильней, будто кто-то, вогнав в подошвы тонкие раскаленные иглы, прошил ими все тело — от пят до макушки. А тут откуда-то наскочил вдруг ветер, слизнул с сугробов поземку, с разгону зашвырнул под подол подрысника, пуще прежнего охладив дрожащее тело. Охнув, Евгений сорвался с места и шало и слепо понесся к серой громадине церкви. До нее по прямой было никак не менее ста сажен. Проскакав треть пути, Евгений обезножил, окаменелые ноги перестали повиноваться — запинаясь, скользили, срывались с тропы. Наверное, он бы сразу остановился, если бы не собаки. Намерзшие псы с довольным веселым лаем скакали рядом, словно бы поддразнивая, подбадривая и увлекая бежавшего по тропе человека...

Он долго готовил себя к этой выходке, готовил духовно, и лишь уверовав в неотвратимость и единственность надуманного пути, решительно и безоглядно ступил на него. В нескончаемых, ненасытных

мечтах он не единожды проделал этот путь — болезненно и скоро, но первый же реальный шаг разом остудил мечты, вышиб из головы не только уверенность в достижении задуманного, но и желание стремиться к этому. Однако он еще бежал, и удерживали на тропе, и погоняли его не рассудок, не воля, а какая-то иная сила, присутствие кося доселе он не ощущал; и эта неведомая, могучая и неуправляемая сила, подмяв и боль, и отчаяние, и расчет, гнала и гнала обеспамятвшего Евгения к церкви.

Где-то на середине пути, а может, и за половиной чертой его вдруг опалила мысль: «А что там?.. каменные плиты паперты, снег... Торкнуться в запертую железную дверь, и назад... не добегу... не смогу...» Ноги подломились, он рухнул лицом в сугроб. Псы обступили его, тыкались носами, скулили, лизали. Загрывая непокорными руками снег, он поднялся на четвереньки, с великими потугами распрямылся и медленно, покачиваясь и постанывая, зашел назад, к недостижимо далекому спасительному крыльцу, подле которого чернели на снегу обрубки валенок. Подбежав, с разгону сунул ногу в спасительную черноту, но не попал: бесчувственные ноги не повиновались, дрожали, гнулись, подламывались, никак не попадая в раструб валяного обрубка. Влажная ладонь прикипела к раскаленной морозом скобе. Евгений остервенело дергал дверь на себя, но та не поддавалась. Он забил

по двери кулаками, закричал, заплакал и вдруг вспомнил, что надо не тянуть, а толкать: дверь-то открывалась внутрь сенок. Махом проскочив сени, влетел в комнату; дрожа всем телом и клацая зубами, стянул подрясник и упал на свою постель. Натянув на голову рядно, часто и громко задышал, торопясь нагнать тепло под покрывало.

Заныли ноги. Все нетерпимей, все острее становилась боль, будто окунул ступни в крутой кипяток, и те разваливались, распадались, порывая сосуды, нервы, сухожилия. Зажав зубами холщовую наволочку, Евгений еле сдерживал рвущийся из груди вопль. Забывшись, он громко стонал, охал, наконец, заснул. Разбудил спавшего рядом Тишку — двенадцатилетнего сироту, три года назад привезенного Клементом из ненецкого стойбища. С Тишки и началась миссионерская школа-интернат для инородческих детей. Потому и держался Тишка как старший, был негласным помощником Евгения, к которому сразу же привязался с бескорыстной неизбывной собачьей преданностью и верностью. Эта неожиданно возникшая и скоро окрепшая дружба была нужна обоим.

Тишка научил Евгения многому: как на утлой верткой лодчонке-калданке или долбленке разволнованную реку перемахнуть; как сети забрасывать, переметы ставить; как отличить след лисы от

волчьего и собачьего. Евгений платил маленькому другу той же монетой: научил бегло читать, грамотно и складно говорить, красиво писать и рисовать. Неутомимый, любопытный и цепкий Тишка все схватывал на лету, потому и был первым учеником, радовал Клементя прилежанием и усердием в учебе и молитвах, тонким слухом и звонким голосом, которых легко брал самые высокие ноты во время церковных песнопений...

Проворно и бесшумно выпростался Тишка из груды тряпья, серым комочком подкатился к ноющему Евгению, тронул его за плечо, страдающим голосом тихо спросил:

— Что болит?

— Ноги... Ноги... — еле выговорил Евгений.

И вот уже в руке Тишки огарок свечи. Он оглядел, едва касаясь пальцами, ощупал ступни, спросил:

— Где был?.. Зачем поморозил?

Буркнув что-то невнятное, Евгений застонал. Тишка юркнул к своей лежанке, из-под подстилки извлек маленький узелок, проворно развязал, покопался в содержимом, достал берестяную коробочку, похожую на крохотный тусок, добыл оттуда серый комок. Понюхал, покусал, погрел над горячей свечкой и начал торопливо и тщательно разминать. Когда мазь размякла, Тишка осторожно, но дотошно стал втирать ее в разбухающие багровые ступни.

Евгений морщился, стонал, даже вскрикивал, но ни разу не отдернул ногу, и это борение с собой неосознанно породило очень странное чувство, схожее с радостью, причем настолько сильным оказалось это чувство, что начало приметно теснить боль. Евгению вдруг захотелось, чтоб Тишкины пальцы были жестче и неразборчивей, чтоб их касание причиняло куда более сильное страдание. Глаза его стали сухими и засверкали, как у затравленного, загнанного в ловушку зверя. Окажись в этот миг под рукой нож, Евгений воткнул бы его в себя, глубоко и сильно, чтоб дать выход переполнившей душу жажде боли. Он хотел мучиться, хотел страдать, как тогда распятый на дыбе отец. Ненависть переборола страдание, до последнего смертного мига отец разил и клеймил изменника князя, хотя и чуял гибель свою и гибель сына. «Смогу я так?.. Смогу...»

А Тишка уже обматывал намазанные ступни лоскутками меха, бинтовал тряпицами, закутывал в рядно. При этом, как заклинание, мальчишка повторял по-ненецки одно и то же. Евгений, хоть и не очень, а все-таки понимал язык маленького друга и, вслушиваясь в бормотанье, перевел повторяемые Тишкой слова: «Сгинь боль, отцепись... Сгинь боль, отцепись...»

Потом Тишка забормотал что-то вовсе невнятное, размахивая при этом руками так, словно от-



гонял кого-то, отодвигал от Евгения. И верно, повинуясь маленькому колдуну, боль начала слабеть, отступать. И вот уже боли нет, только кровь токает в обмороженных ступнях, приметно замедляя, утяжеляя толчки.

Тишка уселся в изголовье. Маленькой шершавой ладошкой оглаживал, будто облизывал, тяжелеющую голову друга, приговаривая:

— Зачем босиком по снегу? Ты — не олень. Мороз огня боится... Сильного боится... Упрямого боится... Иди, не отставай. Упал — подымайся...

— Сила-то при чем? — вяло спросил Евгений, еле обаривая сон. — Сила — не шуба...

— Не та сила, что в кулаке, та, что в сердце, та, что привела Евгешу к Тишке...

Евгений обнял мальчика за плечи, прижал к себе, и на какое-то время оба затихли, словно бы растворяясь друг в друге...

— Послушай, — зашептал Евгений в ухо маленькому другу. — У вас в тундре есть люди с такой силой, чтоб им мороз не страшен?

— Есть... Есть... — после долгого раздумья откликнулся Тишка. — И в нашем стойбище был. Наверное, святой. Скажет: «Мне тепло», идет по снегу босиком, без рукавиц. Мороз не трогает его. Другой раз говорит: «Однако, холодно». На дворе лето, теплынь, его трясет, белый вес, как покойник. К самой злой собаке, к любому зверю идет, как к другу. Пустые руки. Не кусали. Всем улыбался. Боялись и слушались его...

— Где он теперь?

— Ушел к верхним людям. Сидел, пил чай, говорит: «Надоело с вами, пойду к верхним людям». Допил кружку, попрощался, лег и помер...

— К верхним людям, — еле внятно бормотнул Евгений.

С ним творилось что-то непонятное. Окружающее вдруг отдалилось настолько, что он начисто утратил связь с реальностью. Обмороженные ноги... Что-то лопочущий Тишка... Подмятый морозом монастырь... Засыпанная снегом тайга... Три березы на крутоярье... Пропахшая лампадным маслом и воском келья Клементя... Черная осатанелая свора Феофила... Все, что жило в памяти и чувствах, образуя мир Евгениева бытия, все улетучилось, стерлось, и Евгений оказался в неоглядном, неохватном даже мыслью, белом пространстве, в какой-то диковинной пустоте — светлой и гулкой, как нутро исполнского колокола. Иногда в эту слепящую белизну вползали непонятные темные тени, не то дымы, не то размытые тучи, сворачивались в клубы, шары, вращались и сталкивались, исчезали бесследно. Откуда-то, словно из невидимой щели, в белую утробу исполнского колокола прорывался слепящий свет, но не растекался, не менял направления, а четкой, словно бы затвердевшей, узкой и тонкой полосой отсекал от пространства верхний угол, и в том, отсеченном, углу появлялись, сменяя друг друга, лики. Вроде бы знакомые, но неузнаваемые. Их неузнаваемость тревожила, пугала Евгения, он напряженно всматривался, силясь угадать, кто же там? Не мог. Не мог до тех пор, пока в том отсеченном углу не появился отец. Его-то и ждал Евгений, и безмерно тому обрадовался, прямо-таки возликовал. И отец признал Евгения, призывно кивнул и, кажется, улыбнулся.

— Отец! — зашептал беззвучно Евгений. — Даруй мне силы свершить задуманное. Ты

близко к Богу. Павших за правду Бог приближает к себе. Молю тебя, припади к стопам Господа Бога нашего, пусть ниспошлет мне разум и силу. Не услышит, отвернется — отдам душу дьяволу, но отмщу. На муки вечные обреку себя — не отступлюсь...

Тишка спал, сладко и протяжно сопя и причмокивая. А Евгений, завершив молитву Богу и отцу, ощутил возвышающую легкость души, словно бы в предощущении великого светлого праздника, который уже у порога и вот-вот, сей миг переступит его. Недавнее страстное желание отмстить не приметно ослабло, но не от того, что утратило свою значимость, а потому, что показалось делом уже решенным раз и навсегда. С неизъяснимой уверенностью он вдруг подумал: «Не покорюсь... стерплю... осилю. Как тот святой либо умалишенный из Тишкиного стойбища...»

И опять мысль Евгений понеслась по истоптанному кругу, всякий раз оступаясь на тех же выбоинах, спотыкаясь о прежние кочки. А в центре рокового порочного круга незбылемо маячил ненавистный князь-предатель, князь-убийца. Мысль юлой кружила подле проклятого, не приближаясь и не отдаляясь, и чем дольше продолжалось это изнурительное кружение, тем больше стервенел Евгений. Он уже не вопрошал: «А надо ли, а зачем?», лишь погонял себя к цели. Та, наконец-то, стала очевидна и ясна. Путь к ней — восхождение на Голгофу... Ему надлежало вытравить из памяти имя и прошлое свое, забыть род и звание, отца и мать. Привилегии, прихоти, вкусы, привычки — все перечеркнуть. Родиться заново и жить по-иному.

Все это — надвигающееся, необратимое, предопределенное — Евгений уяснил не столько умом, сколько сердцем. Трагизм и глобальность предстоящего он еще не в силах был осмыслить, ибо правил им не рассудок, а чувства... Мысль лишь следовала за ними, подтверждая, соглашаясь.

2

Клемент жил с Богом в мире до той роковой черты, которая рассекла его жизнь, как яблоко, одним ударом на две неравные части, отшвырнув первую, прожитую, бог весть куда. Вельможному боярину Шумскому ладить с Господом Богом было просто: ходи в церковь, блюди посты, крести лоб, садясь за трапезу или берясь за дело, да не забывай поминать имя вседержителя небесного, призывая его в свидетели и судьи, уповая на его доброту и милость.

Верить Богу — одно, а служить Богу — другое. Клемент не просто служил, был пастырем, поводырем божьим. Мир людей и богов мир совместимы лишь приблизительно, на глазок, и то при отдаленном сопоставлении. Чем ближе сходятся эти два мира, тем очевиднее становится их несоответствие, ибо даже схимнику, отшельнику, старцу-пустыннику трудно блюсти неукоснительно заветы божьи, чего же говорить тогда о настоятеле монастыря, под рукой которого не только сотни мятущихся, страждущих, ищущих, лукавящих душ, но и огромное натуральное хозяйство, связь с миром, миссионерская деятельность в неохватном даже мыслью завьюженном тундровом крае, где не ступала нога просветителя. Хочешь не хочешь, а чтобы тащить настоятельский воз, поддерживать отношения с внешним миром, править чужими душами и чужими судьба-

ми, приходится поступаться заветами «Отца, и Сына, и Святаго духа».

Река жизни извилиста, течение ее неровно, берега не одинаковы, глубина разная. Будь ты хоть семидесяти семи пядей во лбу, не осилишь той реки, не порушив велений и заповедей божьих. Хочешь не хочешь, а приходится поучать — по-одному, думать — по-другому, а делать — по-третьему. Такая раздерганность поначалу угнетала Клемент, угнетала и нервировала, и лишь примирив себя с этим неизбежным триединством, он вроде бы успокоился. Но, как оказалось, ненадолго...

Огромен и тесен мир. В нескончаемом, вечном движении он. В постоянных переменах. Меняясь, мир меняет людей, а от перемен в них меняется сам. И что тут первично, что производно — не ответит никто: слишком коротко земное время человека, не успевает он постичь не только окружающее, но и себя — первооснову и двигатель всего земного. Оттого ни один величайший мудрец не вывел ни законов, ни правил, не то что определяющих, хотя бы отражающих пути формирования человеческих судеб. А может, дело тут не в познаниях и долготе жизни человека, а в отсутствии этих закономерностей. Каждая судьба развивается по своей, лишь ей присущей спирали, по своим, только ей свойственным законам. Сколько людей — столько судеб, и двух одинаковых нет...

Вот какие мысли зародились в голове Клемент в время первой исповеди воскресшего Евгения. Откровение подростка прямо-таки потрясло Клемент не трагической безысходностью исповедуемого, а сопричастностью с его судьбой: оба вкусили отравы с одних рук — с рук князя Лебедева...

В ту давнюю, невозвратно закатившуюся пору, когда Клемент был боярином Шумским, князь Лебедев состоял при государе кем-то вроде негласного шута, веселил да забавлял царя-батюшку, а заодно и наушничал тому на приближенных. Надменный и гордый боярин невзлюбил самозванного шута в княжеском звании, меж ними загорелась незримая и негасимая вражда, которая, в конце концов, и привела боярина в монастырь. Скараулил его шут-князь, подслушал нелестные слова о царевом указе, подслушал да и повторил на все застолье при государе. «Глаголил ли сие?» — грозно спросил побледневший царь. Мог бы попятиться, открутиться, откеститься боярин, да хмель рассудок притупил, а зло на шута изострил, вот и ляпнул боярин непотребное, подписав себе смертный приговор.

Лет пять спустя, когда при дворе о боярине позабыли, когда след его, затерявшийся где-то в сибирской тайге, никто не выискивал, случилось невероятное: назначил государь своего вельможного скормороха правителем самой обширной и богатейшей

Сибирской губернии, что простерлась от Урала до Тихого океана. То ли царь постиг нутро Лебедева, то ли тут простое совпадение, но только губернатор из князя получил отменней: властный, жесткий, мудрый. Вдвое больше в государеву казну потекло из Сибири мягкой рухляди. Как грибы после осеннего теплого дождичка, повывлазили всюду русские остроги и поселения, городки и города, монастыри и церквы, превращая чужой, дикий край в землю русскую...

Ах, как ломал, как насиловал себя Клемент, вышибая из души вдруг воскресшую ненависть к новопеченному губернатору. Пока Лебедев был далеко, в столице, и до него ни рукой, ни мыслью тянись

— не дотянешься, жестокая рана в душе Клемент вроде бы зарубцевалась, и если ныла иногда, то глухо, терпимо: поноет, поноет, да и стихнет. Но вот сделался клятый враг властелином вся Сибирь, осел на той же земле, что и Клемент, и ожила старая рана, закровоточила. И хотя от губернской столицы монастырь отстоял более чем за тысячу верст, Клемент всем существом своим чувствовал присутствие врага и, как ни старался, не смог отлепиться от него мыслью, не сумел погасить полыхнувшую ненависть и все чаще ловил себя на мысли о мщении. Опомнясь, отрекивался, отбивался от треклятых сатанинских искусов, глушил старую обиду долгими изнурительными молитвами,

чтением священного писания или жития святых, но и читая Евангелие, он не однажды подсек себя все на тех же гадких мыслишках. И стало сердце настоятеля Пельмского монастыря игумена Клемент ареной изнурительного смертельного поединка дьявола с Богом.

Клемент отчетливо понимал: губернатор и настоятель монастыря — фигуры слишком неравные, даже несопоставимые. Баловень царя, всесильный владыка Сибири единым словом, даже жестом мог выдернуть Клемент из жизни, как трухлявый зуб. Стоит ему лишь ворохнуться, напомнить о себе, выказать свою непочтительность, непокорность губернатору, как тут же сыщется в святой обители провокатор, который из мести, из лести, из корысти сотворит любой навет, и тогда неотвратима мучительная, гнусная смерть. Разум понимал никчемность и обреченность помыслов о мести, а сердце упивалось этими бредовыми мыслями.

Снова и снова иссушал он себя постом, мучил долгим иступленными молитвами, читал ночи напролет, усердно и много писал «Историю края Самоедского», но стоило чуть отвлечься от занятия, как мысль тут же вывертывалась из-под руки Бога, бросаясь опретью под руку дьявола.

А время шло. И не размеренно и ровно, а словно бы под уклон катилось. Чем старше становился



Клемент, тем стремительней пролетали дни, мельтешили, сменяя друг друга времена года: едва привикал к зиме, как начинался ледоход, с ним весенние заботы и хлопоты; еще не свалив которые, уже пора было начинать сенокос; а тут и огород убирать, солить, вялить, коптить и сушить рыбу, запастись впрок грибами, ягодами, орехами; а еще по теплу надо было что-то пристроить, построить, отремонтировать и при всем том денно и нощно молиться, соблюдать церковные требы, принимать богомольцев и паломников, вести с ними и с братией душеспасительные богоугодные беседы...

Колесо.

Настоящее беличье колесо.

Мелькают спицы-дни.

Прокручиваются годы.

Оборот за оборотом.

Оборот за оборотом.

Все быстрее.

Все быстрее к неизбежному финишу, к краю земного бытия...

Этот неуправляемый, все убыстряющийся скачок времени, этот нескончаемый все нарастающий поток забот спасал Клементу от искушения, и только по ночам, в одиночестве, проклятые мысли и желания вламывались в сознание, сокрушая молитвенную благость и богоугодное смирение...

Силы зла оказались сильней. Это они подкинули Клементу недобитого Евгения. После короткой, хотя и жестокой борьбы Клемент принял их сторону.

Повинуясь черным силам зла, Клемент подсказал Евгению путь к отпущению, тот самый путь на Голгофу, который юноша принял, не колеблясь. Принял и пошел по нему...

Несмотря на целебную силу снадобья, которым воспользовался Тишка, ступни ног все-таки кое-где вспухли мягкими водянистыми волдырями. Ступать было больно, но боль не расстроила, не огорчила Евгения, напротив, с каким-то даже упоением засовывал он забинтованные ноги в огромные валяные калоши. Морщился, ойкал, приставывал, но все-таки обулся и пошел к заутрене, норовя не хромать. Каждый шаг был чувствителен, и чтобы приглушить, умалить боль, он норовил шагать как можно шире, не поднимать, а волочить ноги, скользя по утоптанному снегу. Но стоило оступиться, соскользнуть с тропы, угодить в сугроб, сделать неожиданно резкое движение, как боль тут же хватала за сердце, и Евгений еле сдерживал стон. Все же он приковылял и на утреннюю молитву, и на трапезу, и на зов Клементу в келью настоятеля.

Приняв благословение и поцеловав руку Клементу, Евгений отошел к порогу, встал в позу нашкодившего ребенка.

— Садись, — пригласил Клемент, указывая взглядом на лежанку, и когда Евгений невесомо прилепился к самому краешку: — Что с ногами?

— Немножко приморозил.

— Ночью?

Евгений согласно прикрыл глаза. Клемент понимающе кашлянул, но смолчал.

Какое-то время они безмолвствовали. Здесь было глухо, как в склепе. Даже слышно, как перед распятием пламя жует лампадный фитилек.

«Боже мой... Что я делаю?.. Что я де-ла-ю!.. Нет бы остановить, помешать, сбить с пути — окаянного, богопротивного... Нет мне прощенья... Тяжкий неискупный грех приемлю на душу... Господи... Ни

молиться, ни просить — не смею... А как бы я смог его остановить? Молитва бессильна. Увещеванья, просьбы — не помогут. Запереть в клетку? Убьет себя... Пошто утвердился, будто его дьявол подкинул, а не Бог послал, дабы покарать злодея? Карает же Всемилостливейший и Всепрощающий. Уроды. Калеки. Больные... Горят, и тонут, и разбиваются. Проказа, и чума, и холера. Войны. Голод... Ужель сие без ведома Господа? Ежели без воли Всевышнего и волос с головы не падает, то уж мор, пожар, наводнение... воистину кара Господня... Расплата за грехи... Как сие уложить в лоно его заповедей? Ударил по левой, подставь правую... Благословляй проклинающих... Боже милостливый и правый, помоги... Вразуми... Не дай заплутаться. Да, это месть. Коварная и жестокая. Недостойная священного сана моего и звания... Напраслину возвожу на себя. Не алкал ни крови, ни мук ворага своего, пока не кинул Ты или Он несчастного отрока. Сие перст судьбы. Неотвратимый рок. Злой ли, добрый ли, дьявол иль ты, Господи, — прости меня окаянного! — ни с тем, ни с другим тягаться мне не по силам. Не хочешь ли мне, Всевышней? Помилуйшь ли? Воля твоя. О том молить не смею. Любую кару твою приемлю безропотно и благодарно...»

Евгений смотрел на Клементу, чувствуя странный, необъяснимый прилив восторженного ужаса. Такое чувство, вероятно, переживает человек, стоя на кромке высочайшего утеса, перед прыжком в море. Он не знает, долетит ли до воды, глубь там или прикрытые волной обломки скал... Он не желает ни знать, ни думать о том, хотя подспудно где-то и роится страх, мешаясь с восторгом полета, и опьяненный этим редкостным чувством, человек швыряет себя в бездну...

Строгие черные глаза Клементу встречались с глазами юного послушника.

— Пошто спешишь, сын мой?.. Куда спешишь?.. Там не благоухающие райские кущи, там — геенна. Человеку твоего рода изготавиться к такому бытию... — Помолчал, раздумывая. — Зрил ли, как дуги гнут? Исподволь, чуть-чуть, не то пополам, и зачинай с изначалу. Уразумей сие. Не попукай судьбу: сама вынесет. Скоро да просто токмо в сказках. Уразумел? — Евгений согласно нагнул голову. — По шажку надобно. Сперва — воробьиный. Потом — голубиный. Посля — журавлиный. А тогда уж выходи на свой шаг... Не сужу твою нетерпимость, но природа нам не покорна. Аж на семом колене является новая порода. На семом! Смири себя, взнуздай...

Медленно и глухо, почти шепотом говорил Клемент, но доверяя монастырским стенам. Слово по слову, фраза по фразе, очертил он всю тропу, кою надлежало пройти Евгению по пути к цели.

Трудный, рискованный, гибельный путь. И ни сойти, ни возвратиться.

Воистину путь на Голгофу...

Окончание следует

Рисунки Натальи ЕРМОЛАЕВОЙ

СТИХИ

Олега ГОНТАРЕВА

Талант, как известно, редкость. И когда вдруг открываешь его, сердце наполняется радостью: наконец-то еще одно поэтическое имя. Такое имя пришло ко мне вместе с небольшой рукописью. Имя это — Олег Гонтарев.

Олег молод. 25 ему. Совсем немного. Но жизнь сурово обошлась с ним: вечная инвалидная коляска. Казалось бы, как тут не затосковать, не удариться в горестные размышления, в слезливые сетования. К счастью, не таков Олег. Бодростью, оптимизмом, любовью к жизни заражает он друзей, знакомых, всех окружающих. И, конечно же, такими же жизнеутверждающими стихами.

От всей души желаю Олегу успехов и еще раз успехов в творческих исканиях. А они ох как трудны! Не успокаиваться, не опускать руки от возможных неудач. Работать упорно, кропотливо, всегда помнить, что настоящий талант — это доброта и скромность.

Цитировать стихи нет необходимости: они перед вами, дорогие читатели. Надеюсь, что и вы порадуетесь вместе со мной новому поэтическому имени и благодарно пожмете Олегу руку в знак признательности.

В. СТАНЦЕВ, член Союза писателей России.

РУКА МЕДСЕСТРЫ

Прикасаюсь к руке медсестры
я своими сухими губами.
Десять лет греют душу костры —
равномерное белое пламя.
Прикасаюсь к руке медсестры.
Десять лет я хожу по больницам...
Может быть, мои чувства стары,
а, быть может — мне это лишь снится?..
Нет. Реальна рука и тепло —
как разряды мощнейшего тока.
На посту от халата светло.
Ты прости уж меня, недотрога.
Кровь из вены в пробирку бежит.
Чудо-женщина в белом халате.
А рука под губами дрожит...
И с улыбкою голос:
— Ну, хватит...

Закрывается дверь на замок,
умолкает звонок телефона...
Белой кошкой ложится у ног
черной ночи снег первый, зеленый...
То есть — очень пока молодой.
Замечает тропинки, дороги...
Ночь не может стать чьей-то бедой,
если снег согревает ей ноги.



УТРО

Утро. Одинокая постель.
И совсем не греет одеяло.
Я хочу, чтоб в этот час гостей
подарила мне судьба с вокзала.
Я хочу улыбок и цветов,
музыки, шампанского в бокалах
и хороших, добрых, чистых слов,
чтобы их мне девушка сказала.
Чтобы встать из плена простыни,
чтоб к свободе солнца потянуться.
Ей стихи отдать. Сказать:
— Цени!
И к руке губами прикоснуться.
Чтоб она просила:
— Отогрей!
Напои меня горячим чаем.
Только, я прошу тебя, скорей!
Или ты обнять меня не чай?
Что же ты стоишь, как истукан?—
рассмеется весело, игриво.
— Ну, давай скорее свой стакан.
Я же не какое-нибудь диво!
Я пришла. Ты этого хотел?
На кровать опустится устало...
Утро. Одинокая постель.
И совсем не греет одеяло.

Да. Это твой, знакомый запах...
Слепой котенок даже б мог
на неокрепших еще лапах —
к нему...
Нашупать лоскуток
открытой, нежной, теплой кожи,
прильнуть к нему и не дышать...
Пусть каждый раз одно и то же,
но просто сил нет убежать.
Нет —
этого не будет много.
Не помню большей темноты.
В молитве вспоминаю Бога
и понимаю: это — ты.

Александр ГРЕБЕНКИН

ИЗ ВОСЬМИСТИШИЙ

Милая родина!
 Дали былинные
 Манят бродягу домой.
 С поля доносятся
 песни старинные,
 Не позабытые мной.
 Долго по свету
 искал я удачу
 В дальней чужой стороне.
 Снова «Рябинушку»
 слышу и плачу,
 Горько и радостно мне.

 Мы счастье ищем с давних пор,
 Но не нашли к нему дороги.
 И люди свой просящий взор
 Все чаще обращают к Богу.
 Не растоптав любви росток,
 Погрязли в лености и сраме.
 И не поможет нам Господь,
 Пока людьми не станем сами.

 Погас над рекою закат,
 Высокое небо искрится.
 И звезды на землю летят,
 Как в гнезда
 уставшие птицы.
 Упала одна на погост,
 К могильному камню
 прижалась...
 А в небе улыбочивых звезд
 Так мало к рассвету
 осталось!

 В старых залатанных валенках,
 Жизнь повидавший старик,
 Тихо сидит на завалинке,
 К солнышку сердцем приник.

Кровь отогреет немного,
 Будет сидеть и молчать.
 Встретил весну, слава Богу,
 Что же об этом кричать...

 Еще не все исхожены дороги,
 Не все на свете сделаны дела.
 А нас готовят подводить итоги,
 И жизнь на убыль

в наши дни пошла.
 Довольно жить на свете
 — хата с краю!

И нам давно пора искать ответ:
 Зачем в России
 больше умирают,
 И меньше
 появляются на свет?..

 Мне плакать хочется от боли,
 Не ведаю, что завтра будет?..
 Быть может, вновь,
 как в чистом поле,

Мороз ее в душе остудит.
 У беспредела есть граница,
 А у надежды есть дорога.
 — Ты дай России
 возродиться! —
 Прошу всевидящего Бога!

 Срубили дерево в лесу.
 Оно беспомощно упало
 Пластом в студеную росу
 И верить в гибель не желало.
 Ему не слышать больше гроз,
 Не видеть звездного сиянья.
 Я навсегда в душе унес
 Его последнее дыханье.

 Я родился на русской земле
 В деревенской
 отцовской избушке.
 Где кувшин с молоком на столе
 И пшеничного хлеба горбушка.
 За собой не сжигаю мосты,
 Близо сердцу
 уклад этот древний.
 Здесь, как прежде,
 на взгорье кресты
 Осеняют родную деревню.

 Нам беречь бы свято
 До скончанья лет
 Ту, что нас когда-то
 Родила на свет.
 Но, судьбой гонима,
 Просит чья-то мать:
 — Помоги, родимый!
 — Нечего подать...

 Ни о чем меня
 не спрашивай
 И обиды не таи.
 Слышишь,
 за домами нашими,
 В роще свижут соловьи.
 И сережками увенчана
 Над рекой ольха дымит,
 И в глазах любимой
 женщины
 Тает облачко обид.



АЭЛИТА — 93





НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ: 1993

■ Январь, 10. 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-1945). 70 лет исполняется «Аэлиты» (1923).

■ Январь, 19. 125 лет со дня рождения австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932), автора переведенных у нас романов «Голем», «Вальпургиева ночь».

■ Январь, 23. 90 лет со дня рождения английского писателя и публициста Джорджа Оруэлла (1903-1950), автора доступных теперь и нам антиутопии «1984» и сказки «Скотский уголок».

■ Январь, 26. 75 лет со дня рождения (1918) американского писателя Филипа Джоуза Фармера, автора НФ циклов «Мир Реки», «Многоарусный мир» и др. книг.

■ Январь, 29. 105 лет со дня рождения ученого-экономиста Александра Васильевича Чаянова (1888-1939), автора незаконченного романа «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920) и ряда повестей.

■ Февраль, 7. 515 лет со дня рождения английского гуманиста Томаса Мора (1478-1535), автора знаменитой «Утопии» (1516).

■ Февраль, 8. 105 лет со дня рождения французского писателя Жюль Верна (1828-1905). 130 лет исполняется первого его роману «Пять недель на воздушном шаре», 1863), 125 — роману «Дети капитана Гранта» (1868), 115 — «Пятнадцатилетнему капитану» (1878).

■ Февраль, 15. 60 лет со дня рождения (1933) Владимира Ивановича Савченко, автора романов «Открытие себя», «За перевалом» др. книг.

■ Февраль, 23. 100 лет со дня рождения (1893) Абрама Рувимовича Палея, старейшего отечественного фантаста, автора книг «Гольфштрем» (1928), «Остров Таусена» (1948), «В простор планетный» (1968) и др.

■ Март, 6. 65 лет со дня рождения (1928) колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, автора знаменитого романа-эпопеи «Сто лет одиночества» (1967).

■ Март, 28. 70 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Анчарова (1923-1990). 25 лет его НФ трилогии «Содолнце» (1968).

■ Апрель, 15. 60 лет со дня рождения (1933) Бориса Натановича Стругацкого, классика отечественной фантастики, лауреата премии «Аэлита»-81.

■ Апрель, 20. 60 лет со дня рождения (1933) эстонской писательницы Эмэ Бээкман, автора переведенных на русский язык романов «Шарманка», «Гонка» и др.

■ Май, 30. 215 лет со дня смерти знаменитого французского писателя и философа Вольтера (1694-1778), нередко обращавшегося в своем творчестве к фантастике.

■ Июнь, 30. 85 лет со дня падения (1908) Тунгусского метеорита — загадки века, оставившей заметный след и в фантастике.

■ Июль, 3. 110 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (1883-1924), в творчестве которого большое место занимала фантастика.

■ Июль, 10. 90 лет со дня рождения английского писателя Джона Уиндема (1903-1969), автора романов «День

Возобновляя традицию, помещаем краткий список памятных дат НФ на нынешний год. Составить его нам помогли И. МАТВЕЕВСКАЯ (с. Петровское Московской обл.), Л. ВЫСТАВКИН (Москва) и другие наши читатели.

триффидов», «Кракен пробуждается» и др.

■ Июль, 16. 65 лет со дня рождения (1928) Роберта Шекли. 35 лет его роману «Корпорация «Бессмертие» (1958), 25 — роману «Координаты чудес» (1968).

■ Июль, 19. 100 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930), неоднократно обращавшегося к фантастике. 55 лет исполняется комедии «Клоп» (1928).

■ Июль, 24. 165 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889), революционера-демократа, писателя-публициста, автора вышедшего 130 лет назад романа «Что делать?» (1863).

■ Август, 11. 190 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1803-1869), писателя и философа, «русского Фауста», одного из основоположников отечественной фантастики.

■ Август, 22. 120 лет со дня рождения Александра Александровича Богданова (Малиновского, 1873-1928), деятеля российского революционного движения, философа, экономиста. 85 лет исполняется его роману-утопии «Красная звезда» (1908).

■ Август, 29. 85 лет со дня рождения (1908) французского писателя Робера Мерля, автора романов «Разумное животное», «Мальвиль» и др.

■ Сентябрь, 5. 425 лет со дня рождения итальянского философа Томмазо Кампанеллы (1568-1639), автора утопии «Город Солнца» (1602, опубликован в 1623 г. — 370 лет назад).

■ Сентябрь, 20. 115 лет со дня рождения американского писателя Эптона Синклера (1878-1968), автора утопии «2000-й год» (1914).

■ Сентябрь, 23. 85 лет со дня рождения (1908) Сергея Георгиевича Жемайтиса, автора НФ повести «Вечный ветер» и др. книг.

■ Октябрь, 10. 130 лет со дня рождения ученого-геолога Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), автора романов «Плутония» и «Земля Санникова».

■ Ноябрь, 7. 155 лет со дня рождения французского писателя Огюста Вилье де Лиль-Алана (1838-1889), автора романа «Будущая Ева» и др. книг.

■ Ноябрь, 15. 60 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Биленкина (1933-1987), много сделавшего для становления новой отечественной НФ.

■ Декабрь, 4. 90 лет со дня рожде-

ния Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), писавшего фантастику памфлетного плана. 55 лет его повести-сказке «Старик Хоттабыч» (1938).

■ Декабрь, 13. 120 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924), известного поэта, активно работавшего и в фантастике.

■ Декабрь, 15. 75 лет со дня рождения Севера Феликсовича Гансовского (1918-1990), лауреата премии «Аэлита»-89.

■ Декабрь, 18. 80 лет со дня рождения американского писателя Альфреда Бестера (1913-1987), ставшего в 1953 г. — 40 лет назад — первым лауреатом премии «Хьюго» (за роман «Человек Без Лица»).

Кроме того, в наступившем году исполняется:

210 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783-1859);

200 лет со дня рождения Ореста Михайловича Сомова (1793-1833), автора сказочно-фантастических повестей;

145 лет со дня рождения немецкого ученого и писателя Курда Лассвица (1848-1910), автора популярного в прошлом романа «На двух планетах»;

110 лет со дня рождения Сергея Михайловича Беляева (1883-1953), автора книг «Истребитель ЗЗ», «Властелин молний» и др.;

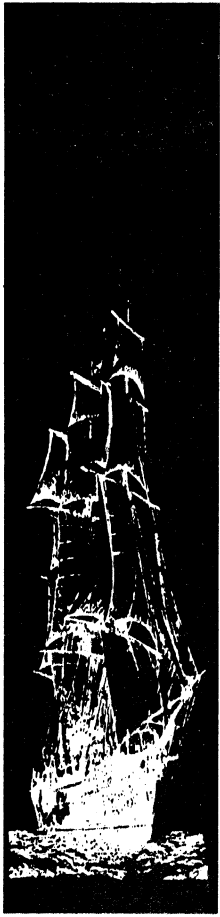
80 лет со дня рождения Исаея Борисовича Лукодянова (1913-1984), в соавторстве с Е. Л. Войскунским выпустившего романы «Экипаж «Меконга», «Плоск звездных морей» и др.;

70 лет со дня рождения Владимира Федоровича Гендрякова (1923-1984), автора книг «Путешествие длиной в век» и «Покушение на миражи»; Александра Лазаревича Полещука (1923-1980), автора книг «Великое Делание», «Звездный человек» и др.;

65 лет со дня рождения американского писателя Филипа Киндред Дика (1928-1982), автора романов «Человек в Высоком Замке», «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и др. книг.

Исполняется также: 355 лет со дня опубликования романа Ф. Годвина «Человек на Луне» (1638); 175 лет роману М. Шелли «Франкенштейн» (1818); 160 лет роману А. Вельтмана «3448 год» и «Фантастическим путешествиям Барона Брамбеуса» О. Сенковского (1833); 100 лет повести К. Циолковского «На Луне» (1893); 95 лет знаменитой «Войне миров» Г. Уэллса (1898); 80 лет роману Б. Келлермана «Туннель» и повестям «Жидкое солнце» А. Куприна и «Алая чума» Д. Лондона (1913); 65 лет романам «Человек-амфибия» А. Беляева, «Бегущая по волнам» А. Грина, «Три Толстяка» Ю. Олеши, «Бунт атомов» В. Орловского, «Я жгу Париж» В. Ясенского (1928); 40 лет роману Р. Брэдли «451° по Фаренгейту» (1953); 30 лет романам «Кольбель для кошки» К. Воннегута и «Лезвие бритвы» И. Ефремова, а также первым НФ сборникам издательства «Знание» — «Новая сигнальная» и «Черный столб» (1963).

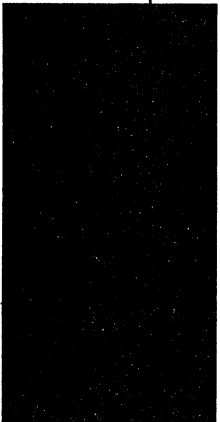
Кроме того, в апреле исполнится 35 лет «УРАЛЬСКОМУ СЛЕДОПЫТУ», а в июле — 60 лет журналу «ТЕХНИКА — МОЛОДЕЖИ».



Александр
НИКИТИН

Тайна архива

"ЭТЦЕЛЬ И КО"



Моя жизнь была полным-полна действительными и воображаемыми событиями. Я видел много замечательных вещей, но еще более удивительные создавались моей фантазией.

Жюль Верн

Сигналы с полярной «Веги»

На эскадренном миноносце «Страшный», где довелось мне в юности служить радистом, чудом сохранилась старая, поистине морская библиотека, собранная со «списанных» в конце двадцатых годов военных кораблей дореволюционной постройки. Потому и уцелели в ней старые книги — еще с «ять». Они спокойно плавали с нами, словно сорвавшиеся со своих якорей, обросшие водорослями и ракушками буи далеких эпох.

В столь уникальной библиотеке и попались мне на глаза ранние переводы с французского романов Жюль Верна. «Таинственный остров» и «Двадцать тысяч лье под водой» были прочтены еще в школе. Здесь к ним

рой плавал удачливый Норденшельд? Путь отважного шведа, впервые насквозь прошедшего вдоль полярных берегов России, мы не раз потом пересекали в Баренцевом море. Хотя на «Веге» еще не было радио, особой роли это не играло. Огромность расстояний не удаляет человека, а, наоборот, приближает, делает его личностью более интересной.



Таким был для меня и тот найденый с погибшей «Цинтии», чудом спасшийся с затонувшего у берегов Норвегии судна и подобранный рыбаком Герсебом из Нороз.

Русский перевод романа «Найденый с погибшей «Цинтии» вышел в

«Нам все кажется, что он в командировке...»

Это строка из письма жены Александра Георгиевича Никитина — журналиста, историка, социолога, давнего автора «Уральского следопыта». Тяжелая болезнь рано оборвала его жизнь.

Александр Никитин родился в 1937 году, окончил Сумской машиностроительный техникум и работал на заводе в Пензе. После службы на Балтийском флоте он поступил на исторический факультет МГУ и с той поры связал свою жизнь с журналистикой и литературой. Работал в пермской газете «Звезда», в «Труде», «Советской России», «Правде»... Нескончаемые командировки, ночные бдения над очередным очерком, ежедневная работа «с колес» — так добывается нелегкий журналистский хлеб.

А Саша к тому же был еще неутомимым краеведом, исследователем, публикатором забытого. Его перу принадлежат книги «Пушкин и Урал», «Секретная рукопись Пушкина», несколько краеведческих сборников; он вернул читателю забытые произведения А. Гайдара, В. Каменского, «Разговоры Пушкина», собранные С. Гессеном и Л. Модзалевским и изданные впервые в 1929 году. Он сделал немало открытий в области истории литературы и литературного краеведения. Широта интересов Александра Никитина достойна белой зависти.

Одно из открытий, адресованных массовому читателю, содержит публикуемый очерк, который Саша послал в редакцию незадолго до смерти в 1992 году. (Публикуется в сокращении).

добавились «Плавучий остров», «Путешествие и приключения капитана Гаттераса», «Найденый с погибшей «Цинтии»...

Дороги необыкновенных странствий героев Жюль Верна чаще всего лежали вдали от Балтики и Русского Севера, где прощупывала чуткий ночной эфир моя радиостанция. Чувствительность ее на приеме была такова, что она могла поймать радиосигналы из самых далеких уголков планеты. Невольно казалось, что их посылали не только современные корабли, но и те, которые навсегда ушли в неведомые дали легенд. Словно приглушенные голоса предков человечества пробивались сигналы в мои шлемофоны. О чем? От кого? Может быть, с полярной «Веги», на кото-

1886 году — спустя год после появления его в Париже¹. Но в наше время он остается малоизвестным. У Жюль Верна ведь есть что выбирать. Никто из русских книгоиздателей пока не смог осилить полного издания сочинений романиста. И даже попыток таких не видно. Самым большим советским изданием остается двенадцатитомник (1950-е годы), в который роман о «Цинтии» тоже не вошел.

Между тем реальность и фантазия в романе соединились самым необычным образом. «Найденый с погибшей «Цинтии» не только сюжетом и местом действия похож на приключения с «Вегой», но и точными приметам времени. Будто Жюль Верн и его герои тоже были участниками полярной экспеди-

¹ Первое издание романа напечатано под названием «Обломки Цинтии» в журнале «Задуманное слово для старшего возраста» 1886, № 1-52. Потом роман изредка печатался под названием «Тайна матроса Патрика».

ции. Если не на «Веге», то на «Аляске», пустившейся по воле романтических героев в кругосветное плавание ради спасения экспедиции Норденшельда и его команды.

Неужели во льдах Арктики плавал сам Жюль Верн? Вряд ли. Об этом не удержался бы упомянуть Норденшельд. Да и сам романтист не промолчал бы. В преклонном возрасте он редко покидал свой уютный амьенский кабинет: все новые и новые романы торопили.

И все же попытки проникнуть в Россию, на Русский Север у него были. Сначала Жюль Верн хотел на собственном паруснике пройти по Балтийскому морю. Но буря помешала дойти до Кронштадта и Петербурга. Второй раз, обогнув Скандинавию, намеревался он плыть дальше на восток. Но маршрут закончился у берегов Норвегии.

Тем не менее географические сведения Жюль Верн черпал не только из книг, газет, журналов. Он проплыл по Средиземному морю от Гибралтара до Леванта. Пересек Атлантический океан до Северной Америки. Хорошо знал воды, омывающие Англию и Шотландию. Но, к сожалению, не доплыл до льдов Арктики. Да разве можно было везде побывать? Удивляет, как он успевал обо всем прочесть, все переосмыслить и столько написать?

Каторжник Новой Каледонии

Ответ очень прост. Роман «Найденный с погибшей «Цинтии» в силу сложившихся обстоятельств был создан Жюль Верном вместе с Андре Лори. Кто такой Лори? Ни в одних метрических анналах Европы мы не найдем свидетельства о дне рождения или смерти соавтора писателя-фантаста, ибо имя это вымышленное.

Под псевдонимом Андре Лори, до поры сохраняемом в глубокой тайне, вынужден был выступать французский революционер Паскаль Груссе². В 1870 году он был по сути министром иностранных дел Парижской Коммуны, издателем газеты «Освобождение».

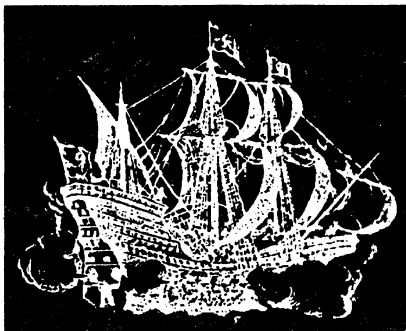
В январе 1870 года он вызвал на дуэль двоюродного брата Наполеона III за то, что Пьер Бонапарт глумился над демократической печатью, оскорбляя редакторов прогрессивных изданий. Секундант Паскаля, молодой журналист Виктор Нуар, который явился в дом Пьера с этим известием, был убит выстрелом из револьвера. В день похорон Нуара вспыхнула демонстрация, ставшая началом новых народных волнений. В конце концов дело закончилось падением империи.

Но вскоре пал и революционный Париж. Луиза Мишель, Паскаль Груссе, Элизе Рэклю и другие коммунары скрывались на тайных квартирах, пробирались за границу. Полиция аресто-

вывала всех уцелевших. Правовое государство оказалось и более жестоким, и не менее изощренным. Паскаль Груссе оказался каторжником в Новой Каледонии — острове, затерянном в Тихом океане за тысячи миль от Франции. С трех сторон мыс Дюка омывался океаном, с четвертой охранялся стражей.

Выжить помогли сила, знания и... фантазия. Стража лениво охраняла каторжников: бежать-то было особенно некуда. Груссе решил наладить связь с внешним миром. Время от времени вдалеке проходил углевоз: откуда и куда не было известно. Этот маршрут заинтересовал Груссе. Он выучил морскую азбуку, добыл осколок стекла, надо думать, для «зеркального» солнечного семафора, и стал ждать...

А пока они с коммунарком Рошфо-



ром соорудили хижину на песчаной отмели мыса Дюка. Ветер здесь был сильнее, и он отгонял гнус от берега океана в глубину острова. На видном месте в хижине прикрепили гравированный портрет Жюля Верна. Несколько его романов из роскошно иллюстрированной многотомной серии «Необыкновенные приключения» попали на каторгу, видимо, вместе с каторжанами. Перечитывая их, Груссе узнавал про подвиги куда более дерзкие и необыкновенные, чем побег из Новой Каледонии. Но надо было торопиться: голод и лихорадка косили невольников.

Новую Каледонию порою посещали торговцы из Нумса. С их помощью и удалось связаться с неуловимым угольщиком. С него в штормовую ночь была послана шлюпка. Самому Груссе, уроженцу Корсики, еще в детстве привыкшему к морю, к тому же спортсмену и бывшему студенту-медику Сорбонны, пуститься вплавать было легче. Труднее пришлось его «помощникам» — двум каторжанам — Рошфору и Журду.

Будущему соавтору «Необыкновенных путешествий» Жюля Верна довелось совершить поистине дальние необыкновенные путешествия. Путь от Новой Каледонии пролегал сначала до Мельбурна, а оттуда на попутных и не всегда попутных кораблях Паскаль Груссе прибыл в Нью-Йорк, потом в Лондон.

Прежде чем стать писателем, он был журналистом. Первая его книга «Политические заключенные в Новой Каледонии», изданная в Англии в 1874 году, стала общепризнанным документом. Она, как и многие другие публикации о революционерах, обличающая правительство Франции в средневековой жестокости, создавала международное мнение о стране. Так или иначе, спустя восемь лет коммунары получили амнистию. Сравним: русские декабристы провели в изгнании тридцать с лишним лет.

В годы изгнания, как и позже, Паскаль Груссе выступал в публицистике под псевдонимом Филиппа Дарриля, а в художественной литературе — Андре Лори. Под этим более известным псевдонимом его повести и романы появлялись в «Журнале воспитания и развлечения». И там же, напомню, печатался Жюль Верн. До недавних пор мало кто из наших современников знал писателя Андре Лори, автора чаще всего нравоописательных романов. О нем нет упоминаний ни в старых, ни в новых энциклопедиях.

Пьер Этцель находит выход.

Жюль Верн и Андре Лори конечно знали друг друга, хотя и не им самим принадлежит идея творческого сотрудничества. Как же родился этот литературный альянс?

Паскаль Груссе, живя в Англии, очень нуждался. Составить имя осужденному человеку было не просто. Каждый раз надо было искать издателя, готового закрыть глаза на эту брешь в биографии. А писал Груссе очень много, легко и живо.

Известный французский издатель Пьер Этцель, отличавшийся как литературным вкусом, так и незаурядной предприимчивостью, решил помочь сразу двум писателям. У младшего — Лори — не было имени, зато было быстрое перо, у старшего — Жюля Верна — мировая известность и неимоверная усталость. Согласно давнему договору, он должен был давать журналу и библиотечной серии Этцеля по два романа в год. Утомленный летами, болезнями и изнурительным трудом знаменитый фантаст незаметно для самого себя стал литературным каторжником. Он сдавал свои позиции, но не хотел, чтобы страдали романы, не хотел печь рукописи как блины. Облегчая жизнь сразу двум литераторам, Этцель и сам не терял барышей. Издатель, наверное, просто скупал поучительные, нередко сыроватые в литературном отношении творения Андре Лори, и отдавал Жюлю Верну эти рукописи для завершения, вернее, для превращения их в научно-фантастические романы, чтобы ус-



2 Андре Лори — один из многих псевдонимов Паскаля Груссе (1845-1909). Родился на Корсике в семье учителя лицея.

корить его работу. Как это было? Почему соавторство не указано на красочных обложках романов?

Видимо, живя в Лондоне, беглый каторжник Лори сотрудничал с писателем-фантастом нелегально, через посредство издателя. Он для Франции был, говоря нашим языком, — «невывезным». Издатель же остался верным себе: хранил в тайне свои расчеты с писателями. Хранил надежно, даже наследникам наказал. Лишь в одном романе сам Жюль Верн вскользь отметил соавторство Андре Лори. Произошло это уже после амнистии революционеров. О соавторстве Лори в ряде других, более ранних, романах стало известно относительно недавно, когда в Национальную библиотеку Франции поступил архив издательской фирмы «Этцель и К», а внук Жюль Верна написал автобиографическую книгу по семейным архивам, воспоминаниям друзей и близких знаменитого деда.

Теперь и лишь отчасти становится понятным, почему чуть ли не столетие пролежал архив Жюль Верна в сейфах, когда за ним долгие годы охотились многие. Издательские секреты, частные подробности подчас трагической личной жизни становились преградой к раскрытию архивов.

Найденные биографами Жюль Верна архивы, кроме всего прочего, реабилитировали литературный талант Андре Лори, точнее обозначили его место в творчестве Жюль Верна 70-90 годов прошлого века. Французский филолог Симона Вирьен, прочтя в архиве письма Жюль Верна к издателю, считает, что внук писателя явно приуменьшил роль Груссе в создании романа «Найденный с погибшей «Цинтия»». Кроме того, из письма видно, что Лори принадлежит соавторство еще двух романов «Необыкновенных путешествий»: «Пятьсот миллионов бегумы» и широко известной за рубежом «Южной звезды».

Роман о «Цинтии» заслуживает внимания не только присутствием в нем темы Русского Севера, положенным в его основу географическим открытием, но и художественным содержанием, нравственной направленностью. В нем сочетаются фантастические картины и реалистические свидетельства эпохи, сближаются подлинное путешествие (Норденшельда) с вымышленным (Эрика).

Одновременно это научно-фантастический роман с социальным подтекстом. Хозяин корабля-пирата «Альбатроса», незаконно разбогатевший на работорговле, потом — добыче нефти в Америке, скрывает в Европе следы своих старых преступлений и совершает в Арктике новые. Наконец, это один из немногих романов, в котором местное население северных окраин России не оскорбляется иностранными авторами. Наоборот, они предстают как помощники ученых в их стремлениях к открытиям. Вспомним, что один из оленеводов, чукча Василий Менка, вы-

звался лично доставить письмо от Норденшельда иркутскому губернатору, чтобы тот отправил послание правительству в Стокгольм. Часть других писем, оставленных «Вегой» в пути, была обнаружена нашими полярниками лишь в тридцатые годы.

Степень участия того и другого соавтора романа не представляет неразрешимой загадки, если знать особенности их письма. Можно полагать, что Лори принадлежит наиболее романтическая часть романа — воспитание Эрика в доме рыбака, общение с учителем Маляриусом. Она, как считает Евгений Брандис, близка к другим воспитательным романам Лори.

Нетрудно заметить в романе некую разностность повествования: смотря по тому, кто больше приложил руку к тем или иным его страницам. При описании «географических приключений» Жюль Верн, похоже, остался верен себе, а в изображении воспитательных приемов Андре Лори не изменил, наверное, своим взглядам. Но эти различия отнюдь не разрушают, а усиливают социальное кредо романа.

Бессспорно, Жюль Верн хорошо знал историю похода на «Вега». Но почему-то очень скуп, всего несколько фраз обронил об истории самого корабля, оснащенного на средства русского промышленника А. Сибирякова, шведского предпринимателя О. Диксона и короля Оскара II. Это было, говоря современным языком, нечто вроде русско-шведского совместного предприятия. Но тогда совсем бескорыстного, без надежд на скорую отдачу.

Так что с маршрутами «Веги», с которой писатели, словно два умелых навигатора, сблизили свою «Цинтию», действительно пересеклись многие маршруты истории. В том числе и наше эскадренного миноносца «Страшный».

Это был в ту пору третий корабль под тем же названием. Во время боев с фашистами он подорвался на mine, но остался на плаву и с помощью спасательных кораблей вернулся на базу. В Кронштадте ему приварили «нос» от другого, взорванного немецкой торпедой. Воевал эсминец до конца второй мировой. Только в 1959 году его исключили из реестра боевых кораблей. Мы его разоружали, снимали радиостанции и пеленгаторы для школы морских связистов в Либапе. Имя миноносца «Страшный» вскоре понес на своем борту ракетный противоминный корабль. Он ходил и быстрее, и дальше. К самому полюсу!

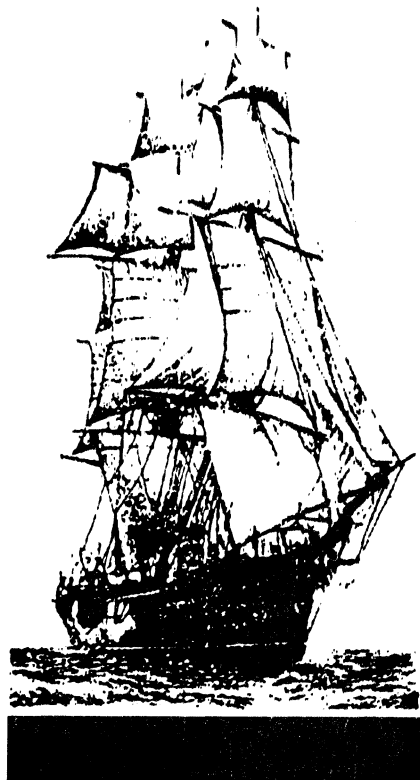
А старая морская библиотека? Те сотни книг, которые полвека передавались с корабля на корабль, тоже спасли в Либапе вместе с кораблем. Книги вместе с нами перекочевали в школу морских радистов. Не все, а лишь те, что мы, трое матросов, сумели унести в своих вещевых мешках. Так оказалась у меня в память о морских дорогах книга Норденшельда о «Веге» и похожий на художественное описание это-

го путешествия роман Жюль Верна о «Цинтии».

Жюль Верн умер 24 марта 1905 года, когда ему было семьдесят семь лет. В специальном траурном выпуске «Журнала воспитания и развлечения» Андре Лори так оценил творческий вклад писателя и друга в развитие мировой литературы:

«И до него были писатели, начиная от Свифта и кончая Эдгаром По, которые вводили науку в роман, но использовали ее главным образом в сатирических целях. Еще ни один писатель до Жюль Верна не делал из науки основы монументального произведения, посвященного изучению Земли и Вселенной, промышленного прогресса, результатов, достигнутых человеческим знанием, и предстоящих завоеваний. Благодаря исключительно разнообразию подробностей и деталей, гармонии замысла и выполнения, его романы составляют единый и целостный ансамбль, и их распространение на всех языках земного шара еще при жизни автора делает его труд более удивительным и плодотворным».

Благодаря раскрытию издательской тайны Жюль Верна и Андре Лори, может быть, в будущем мы увидим и книгу из трех лучших произведений самого коммунара Паскаля Груссе. Они тоже приключенческие и написаны под сильным влиянием друга и литературного учителя — Жюль Верна.



Геннадий ПРАШКЕВИЧ

СПОР с ДЬЯВОЛОМ

ШПИОН ПРОТИВ АЛХИМИКОВ – II

ПОВЕСТЬ

*Был я все время, как
птица одинокая на
кровле.*

Из псалмов

*Не дар и не мастерство,
а край, местность.
Не просто искусство,
а неизбежность,
то единственное,
от чего не уйти.*

У. Сароян



Надломленная, пожелтевшая ветка вяза, широко раскинувшего крону над скучной почти трехметровой бетонной стеной... Едва заметная царапина на той же стене, наглухо отгородившей виллу от внешнего мира...

Не слишком много, но для опытного глаза — достаточно.

Дня три назад неизвестный, торопясь, прыгнул с вяза прямо на гребень стены, весьма своеобразно украшенный битым стеклом, и это стекло ничуть его не испугало. Сползая со стены, неизвестный оставил на бетоне царапину. Оказавшись на земле, среди розовых кустов, он немного помедлил (неясный отпечаток каблука), а затем скользнул в старую, поросшую травой канаву. Одно ее ответвление уводило в дубовую рощицу, другое вело прямо к дому. Впрочем, открытую веранду, на которой любил отдыхать хозяин виллы, увидеть отсюда было невозможно — ее закрывали хозяйственные пристройки; зато со стены можно было любоваться всеми тремя окнами кабинета-библиотеки.

Под стеной валялась металлическая лестенка. Именно здесь две недели назад нашли труп садовника Бауэра.

«Герб города Сол».

Название виллы меня раздражало — слишком претенциозно, к тому же, я никогда не слышал о таком городе. Может, где-нибудь в озаркском краю или на севере... Не знаю... Скорее всего, придумка хозяина. Отгородившись бетонной стеной от всего мира, старик Беллингер последние десять лет ни разу не покидал территорию «города Сол», он не поддерживал никаких отношений даже с единственным своим соседом — художником Раннером. Впрочем, в отличие от старика, Раннер на своей вилле не засиживался; его садовник и сторож, некто Иктос, бывший грек, эмигрант, кажется, приятельствовал с покойным Бауэром, но это не означало, что он мог бывать в «городе Сол».

Я продолжил обход стены.

В который раз я ее обхожу? Может, в сотый, в трехсотый... Не знаю.

Меня не отпускала смутная тревога: выходило, что время от времени здесь, рядом со мной и рядом со стариком Беллингером, которого я охранял, появляются какие-то неизвестные люди, не имеющие никакого отношения ни ко мне, ни к хозяину.

Эта надломленная ветка...

Пришаркивая, чуть волоча левую ногу, потягивая довольно дерьмовую сигарету, я неторопливо обходил вверенное мне хозяйство.

Если за мной действительно наблюдают, они должны видеть — никакой опасности я не представляю. Ни для кого. И ни в какой ситуации. Обыкновенный наемный работник, умеющий разжечь огонь в камине, даже приготовить обед. Ну и проследить за домом, за садом. В рекомендации, написанной доктором Хэссопом (как я понял, когда-то он неплохо знал Беллингера), осо-

бо отмечалось мое трудолюбие, подчеркивалась моя сдержанность, но и умение поддерживать непритязательный разговор, подчеркивалась моя исполнительность. Думаю, доктор Хэссоп не раз усмехнулся, сочиняя рекомендацию — уж он-то знал, что я из себя представляю.

Впрочем, сам Беллингер ничем не походил на знаменитого писателя.

Коротко остриженные, седеющие, но все еще упрямо торчащие волосы, худые плечи, не слишком выразительный рост — во всей его фигуре таилось что-то уклончивое. Он как бы хотел слиться с окружающим, стать такой же постоянной его частью, как низкое кресло, в котором он любил сидеть, как звон цикад в траве, как, наконец, протоптанные в саду дорожки. И только глаза выдавали непонятное мне неистовое ожидание.

Когда он впервые взглянул на меня, я испугался — не узнал ли он меня? Этого не могло быть, мы никогда и нигде не пересекались, неистовое ожидание в его глазах относилось к чему-то более общему, вряд ли имеющему ко мне отношение.

— Айрон Пайпс?

Я кивнул, переступив с ноги на ногу.

— Ты приехал на машине?

— К сожалению, в данный момент я не имею машины.

— Это хорошо, — его взгляд потихоньку гас. — Я бы не позволил тебе держать здесь машину. Ты вообще не должен держать здесь ничего лишнего. Тебе понятно?

Я кивнул.

Я хотел, чтобы Беллингер уверовал в мое умение поддерживать «непритязательную беседу».

— Твое дело — следить за порядком в саду и в доме. Ты никого не должен пропускать на территорию виллы. И ты не должен болтаться у меня под ногами, я не люблю людей, нарушающих гармонию.

Не знаю, что он называл гармонией. Может, разруху. И дом, и сад, и бетонная стена, и глухие металлические ворота, и хозяйственные пристройки — все выглядело предельно запущенным. Бывший садовник Беллингера, похоже, слишком буквально воспринял слово о гармонии — узкие аллеи занесло жухлой листвой, стволы дубов тронуло пятнами лишайника, канавы заросли, а что касается роз, они не просто дичали, они буквально впадали в дикость, все вокруг оплетая колючими шипастыми отростками.

В центре этого дичающего мира, как паук в паутине, сидел Беллингер.

Нет, одуванчик. Седеющий одуванчик, а не паук. Наверное, так будет вернее. Одуванчик, почти обдутый ветром времени, но все еще крепкий.

А может, и паук?

Я не знаю.

«Генерал» и «Поздний выбор» — два его романа претендовали в свое время на Нобелевскую

премию. Правда, старик премию не получил. Газеты упрекали его в «социальном легкомыслии», намекали на некие пятна в его биографии, как-то связанные с годами войны, проведенными им в Европе. Там вообще было много неясного. В результате Беллингер разразился серией оскорбительных статей — оскорбительных для читателей, для журналистов, для Нобелевского комитета. Зато от него, наконец, отстали.

А потом он исчез.

Разумеется, он не был первым человеком, выбирающим для себя тишину и уединение, зато он был очень известным человеком — и время от времени журналисты пытались добраться до виллы «Герб города Сол».

Мне не понравилось отношение Беллингера к оружию. Иногда, сказал он, объясняя основные правила своего существования, хитрюги-журналисты пытаются вести съемку с вертолетов. Так вот, у него в кладовых стоят охотничьи ружья, среди них есть весьма приличный калибр. Не стесняйся, Айрон Пайпс, сказал Беллингер, ты должен отгонять от этого места все живое — от ворон до вертолетов. Ответственность он берет на себя.

Я кивнул.

— Я вижу, ты не болтун, Айрон Пайпс, — заметил Беллингер достаточно хмуро. — Шрам на щеке, это у тебя откуда? — Он так и впился в меня выцветшими белесыми глазками. — Любишь подражаться?

Я туповато спросил:

— Зачем?

— Ну как! — Беллингер неожиданно рассердился. — Иногда приятно помахать кулаками. А когда начал махать, лучше не останавливаться, поверь мне. Вот, скажем, навалилась на тебя толпа, что ты сделаешь?

— Объявлю сбор пожертвований, — туповато ответил я. — На благотворительные цели.

— Вот как?

Я, кажется, окончательно разочаровал Беллингера.

— Займись делом. И чем реже ты будешь попадаться мне на глаза, тем лучше...

Город Сол...

Название виллы ассоциировалось с утопиями. Маленькая уединенная утопия Беллингера. Что-то из Платона или Кампанеллы, следовало бы заглянуть в справочник, но у садовника вряд ли могут быть такие интересы. К тому же, Платона я вряд ли бы стал перечитывать.

Интересно, кто первым пустил утку о его высокой гуманности? Государство будущего, глубокая философия,



торжество свободных умов... Никогда не находил особых отличий между воззрениями Платона и воззрениями современных восточных вождей. Искусство? Да. Но регламентированное жесточайшей цензурой. Музыка? Да. Но жестко ограниченная, скажем, струнными инструментами. Армия? Да. Но слепо повинующаяся первому слову. Женщины? Тут и споров нет. Женщин просто нужно распределять.

Вот и все будущее.

Ладно.

Думать мне следовало не о Платоне.

Две недели назад садовник Беллингера, мой предшественник, некто Бауэр, был найден в канаве мертвым.

Я отчетливо представлял эту сцену. Полдень. Солнце, запах одичавших роз, звон цикад. Лежащий в траве садовник несколько не беспокоил Беллингера. Почему бы садовнику и не полежать в траве? Он даже окликать его не стал, тем более, что Бауэр от рождения был л глухонемым. Лишь муравьи, деловито разгуливающие по раскинутым голым рукам садовника, вызвали у старика беспокойство. Правда, в полицию он не позвонил, он связался с доктором Хэссопом, и это, несомненно, было правильное решение.

Сердечный приступ?

В разборном кабинете шефа, где можно было не бояться чужих ушей, доктор Хэссоп высказался более определенно. На лице Бауэра обнаружены микроскопические царапины, возможно, они оставлены тряпкой или мягкой рукавицей... Существуют яды, выветривающиеся из организма за какие-нибудь полчаса... Ну и так далее. Без прямых привязок, но и не без подталкивания.

Джек Берримен и я, мы переглянулись.

Если шеф принимает нас в кабинете, значит, операция разработана. Вот почему я с разочарованием услышал о цели — охрана Беллингера.

Я и Берримен, и вдруг — охрана Беллингера!

— Это даст нам какой-то доход? — удивился я.

Шеф пожевал толстыми губами, тяжелые складки под его подбородком пришли в движение:

— Детали пояснит доктор Хэссоп. Что же касается доходов, Эл, не уверен, что каждая акция должна приносить доход.

Мы снова переглянулись.

Не каждая акция?.. И это говорит шеф?

Доктор Хэссоп успокаивающе кивнул.

Заработать можно и на таком простом происшествии, как смерть садовника, сказал он. Он, доктор Хэссоп, не может доказать в суде, что садовник Бауэр умер от сердечного приступа, но он и не собирается этим заниматься. Он уверен, старику Беллингеру грозит опасность, достаточно серьезная опасность. Похоже, в этом уверен и сам Беллингер. Бауэр — это, скорее всего, случайная жертва, настоящая опасность грозит Беллингеру. Рядом с ним

постоянно должен находиться надежный человек. Ну, а дальше...

Доктор Хэссоп ухмыльнулся.

У старика, это известно, вздорный характер. Скоро в этом придется убедиться тебе, Эл. Ты, парень, поладишь со стариком, правда?

Я насторожился.

Покачивая узкой головой (он всегда напоминал мне грифа), доктор Хэссоп продолжал:

— Изучи территорию виллы, Эл. Каждую тропинку, каждую канавку. Официально у Беллингера бывает лишь его литературный агент — некто мистер Ламби, проверь его. Говорят, за десять лет своего добровольного уединения Беллигер не принимал никого, кроме мистера Ламби, проверь это...

Перспектива сидения на какой-то глухой вилле не очень привлекла меня, но, в конце концов, я работаю на Консультацию...

— Не думаю, Эл, что тебе будет скучно, — успокоил меня доктор Хэссоп. — Ты будешь внимательно следить за садом и домом, ты будешь фиксировать мельчайшие изменения, чего бы они ни касались. Ни один человек, включая и мистера Ламби, не должен беседовать с Беллингером втайне от тебя. Мы начинили специальными датчиками всю стену, окружающую виллу; благодаря «клопу», вшитому в мочку твоего уха — он ведь на месте, Эл? — ты вовремя узнаешь о любом человеке, который захочет миновать ворота виллы. Обо всем происходящем на вилле, опять же благодаря специальным датчикам, постоянно будет известно на скрытых постах, установленных Джеком в близлежащем лесу. Если возникнет реальная угроза, если на вилле произойдет нечто непредвиденное, люди Джека незамедлительно придут на помощь.

Доктор Хэссоп помолчал. Потом добавил:

— Обрати внимание на некоего Иктоса. Он соседник соседней виллы и, кажется, приятельствовал с Бауэром. По крайней мере, они частенько болтали.

— Болтали? Но ведь Бауэр глухонемой!

— Разве это помеха? — Доктор Хэссоп вытянул длинную шею, изрезанную морщинами, как годовыми кольцами. — Иктос садился на обочине, дорога проходит чуть ли не под стеной, и открывал бутылку. Бауэр обычно торчал над стеной, поднимался туда по лесенке. Наверное, иногда и он пропускал стаканчик. Что касается болтовни, говорил, естественно, один Иктос. Не думаю, что опасность, грозящая Беллингеру, как-то связана с бывшим греком, но мы должны проверить все.

И опять сделал паузу:

— Десять лет уединения... Мне всегда это казалось странным. Беллигер любил пожить, он большой грешник. И литература была для него всегда чем-то более значительным, важным, чем ремесло. Я никогда не понимал причин его ухода. Не понимаю и сейчас, — доктор Хэссоп раздраженно моргнул, — не может же старик десять лет

любоваться розами!.. Проверь его сейф, Эл, в сейфах всегда можно что-нибудь найти... Ну, я не знаю, что... Какие-нибудь письма, документы... Или рукопись... Что-то же должно беспокоить неизвестных нам оппонентов Беллингера!.. Я думаю, Эл... — Доктор Хэссоп поднял на меня свои блеклые старческие глаза. — Я думаю, Эл, что в течение ближайшей недели, ну двух от силы, некий человек, а возможно, целая группа, попытается попасть в «Город Сол». Я не знаю, чего они хотят, но, чего бы они ни хотели, мы обязаны им помешать. При первом же сигнале тревоги люди Джека блокируют виллу. Вам же с Джеком следует накрепко запомнить одно: человек, который захочет навестить виллу без разрешения хозяина, нужен нам живым, именно живым! Если нападет группа, можете делать, что хотите, но одного человека при любых обстоятельствах вы обязаны доставить в Консультацию живым. Это ваша задача. Это приказ. И само собой, Эл, если ты обнаружишь в сейфе какую-нибудь рукопись, непременно пересними ее.

Доктор Хэссоп взглянул на меня, потом на Джека:

— Есть вопросы?

— У меня, собственно, не вопрос, — сказал я. — Скорее, просто прикидка. Эти неизвестные... Есть детали, могущие хоть как-то прояснить акцию?

Доктор Хэссоп повеселел:

— В общем-то, Эл, мы ценим тебя и Джека как раз за то, что вам не требуется много деталей. Но вы имеете право интересоваться ими. Сейчас я назову несколько имен, достаточно известных имен, а вы внимательно слушайте. Я хочу знать, насколько серьезно вы относитесь к сообщениям прессы.

Он помолчал, а потом, полувзакрыв глаза, медленно перечислил:

— Мат Курлен... Энрике Месснер... Сол Бертье... Памела Фитц... Голо Хан... Скирли Дайсон... Сауд Сауд...

И открыл глаза, взглянув на нас остро, резко.

Первым откликнулся Берримен:

— Голо Хан по происхождению пакистанец, но работал в нашей стране. Весьма перспективный физик, причастный к некоторым секретным проектам. Его исчезновение насторожило многих, некоторые спецслужбы до сих пор боятся его появления в одной из стран, чьи режимы противопоставляют себя мировому сообществу. А Памела Фитц — журналистка. Убита в отеле «Харс» два года назад. Именно она копала дело Голо Хана. Кое-кто, правда, считает, что в этом случае речь может идти о довольно-таки загадочном самоубийстве.

Доктор Хэссоп удовлетворенно кивнул.

— Мат Курлен... — Я вспомнил. — О нем в свое время много писали. Лингвист, занимался жаргонами. Какая-то бредовая идея построения всемирного языка, понятного даже идиотам. Если я не ошибаюсь, он покончил с собой. Ну, а о

Соле Бертье слышал, наверное, каждый. «Самый оригинальный и самый мрачный философ двадцатого века», — процитировал я. — С его работами связана волна студенческих самоубийств, прокатившаяся по югу страны. Сол Бертье любил жесткие эксперименты. Можно думать, он часто находился не в ладах с общепризнанной моралью. Погиб в море, упав за борт собственной яхты. Его архив опечатан.

— Сауд Сауд — социолог, сотрудник ООН, — вспомнил Джек Берримен. — Не думаю, что это его настоящее имя. Скорее всего, псевдоним. Был замешан в крупном политическом скандале, разразившемся после провала некой миротворческой акции в Африке. Исчез из своего кабинета. Вместе с ним исчезли некоторые немаловажные документы. Не удивлюсь, если Сауд Сауд где-то процветает, конечно, под другим именем.

— Ошибаешься. Он убит, — хмыкнул шеф. Мы обернулись.

Похоже, шефу надоел импровизированный экзаме́н.

— Хватит с них, Хэссоп. Скирли Дайсона они все равно не знают.

— Тоже физик? — спросил я.

— Сапожник, — ухмыльнулся шеф. — В прошлом, конечно. А затем основатель религиозной секты, обосновавшейся где-то в горном Перу. Говорят, обладал невероятным даром внушения. И не исключено, что каким-то образом опирался на работы Сола Бертье.

— Что с ним случилось?

— Убит.

— А Месснер? — спросил Джек Берримен. — Вы называли еще одно имя — Месснер. Кто это?

— «Еще одно имя»... — доктор Хэссоп недовольно воззрился на Джека. — Отнюдь не одно. Я могу привести еще добрый десяток. Что, по-вашему, их объединяет?

— Смерть, — быстро сказала я.

— В самую точку, Эл.

— И, наверное, судьба их работ. Я не ошибаюсь?

— В самую точку, — удовлетворенно повторил доктор Хэссоп. — Наброски будущих книг, специальные статьи, физические расчеты, дневники, письма, рукописи. Все, что угодно. Я проанализировал примерно пятьдесят судебных впечатлений странное. Некто или нечто, это я пока не берусь определять, в один вовсе не прекрасный момент с высокой степенью точности выходит на личность, способную своими работами определить некий новый взгляд на будущее. Звучит пышно, но истине соответствует.

Я прикинул:

— Эти судьбы, они как-то распределены во времени? Они не связаны, скажем, только с последними тремя годами?

— Указанная цепочка имен растянута во времени, Эл.



— Вы хотите сказать, — уточнил я, — что она вовсе не оборвана?

— Боюсь, что так, Эл, — удрученно ответил доктор Хэссоп. — Боюсь, Беллингер может стать следующей жертвой. У меня есть основания так думать. Ты должен помочь старику. Если даже я ошибаюсь, что-то тут все равно нечисто. Так что, учти, скучно тебе не будет.

Беллингер ничем не походил на знаменитого человека.

Утонув в низком кресле, он часами смотрел на плывущие в небе облака, часами созерцал свой запущенный сад. Свисты, шорохи, звон цикад — он был тихим центром этого кипящего мира. За день он выпивал семь-восемь чашек кофе — колоссальное количество для его возраста. Я мог протирать пыль, греметь чашками — он не замечал меня. Но так же неожиданно он мог разразиться монологом, ни к кому, собственно, не обращаясь. Он мог вспомнить Стейнбека и обругать его. Очень обидчиво он вспоминал Говарда Фаста, зато часто поминал Сарояна и Клауса Манна — совсем в другом контексте. Никогда нельзя было угадать, о ком он заговорит в следующую минуту, еще труднее было понять — зачем ему нужны эти монологи? Может, он проверял меня? Может, он ждал какого-то отклика?

Ни в кабинете, ни в спальне, ни в гостиной — нигде я не нашел ни телевизора, ни приемника. Мой транзистор Беллингер разбил в первый же день. Айрон Пайпс, сказал он мне раздраженно, я не потерплю ничего лишнего. И добавил, впадая в свой первый по счету монолог: Уильям Сароян обожал радиоболтовню, вряд ли это шло ему на пользу...

Два довольно просторных этажа — что он годами делал в своем запущенном доме? Он ведь даже в сад почти не спускался, предпочитал кресло. Раз в неделю грузовичок фирмы «Мейси» останавливался за воротами. Я выгружал продукты, прежде этим занимался Бауэр, и самостоятельно вносил их в кладовые. О крупнокалиберных ружьях Беллингер больше не вспоминал, но, уверен, он без колебаний пустил бы их в ход, посмей водитель вогнать свой грузовичок на территорию виллы.

И еще. Я никогда не видел в руках Беллингера книг, хотя библиотека у него была немалая. Он предпочитал сидеть в кресле, обхватив руками острые колени и безмолвно вслушиваясь в происходящее.

Тень птицы. Облачко в небе. Цикады. Воздух, настоянный на запахах одичавших роз, листьев, коры. Печаль отчуждения. Японцы подобные состояния называют одним словом — сатори. Они считают, подобные состо-

яния только и способны вызывать истинные озарения, но испытал ли озарения Беллингер, замкнувшись в своем мирке? Чего он годами ждал на своей веранде?

Впрочем, я не обязан был анализировать его духовные состояния. Мне вменялось проверить сейф старика, изучить виллу и дождаться неизвестного, способного удовлетворить наше общее любопытство. С трех сторон «город Сол» был окружен лесом, только с юга под бетонной стеной проходила дорога — узкая, запущенная, как все в этом Богом забытом краю. Кроме грузовичка фирмы «Мейси», тут давно, кажется, никто не проезжал.

Людей Джека Берримена это устраивало.

Укрывшись в лесу, они круглосуточно прослушивали окрестности. Благодаря скрытым микрофонам, они слышали каждое слово, произнесенное стариком или мною, а я слышал все, что делалось по периметру стен.

Но дни шли, а ничего не происходило.

Птицы. Цветы. Цикады.

Иногда мне казалось, мы навечно погружены в самый глухой из омутов. Правда, надломленная ветвь, царапина на стене...

Я никогда не доверял тихим местам. Тишина «города Сол» тоже меня не убаюкивала.

Бэрдокское дело, моргачи из Итаки, ребята с фирмы «Счет», коричневые братцы, Лесли, пытающиеся подставить мне ногу, — я знал, какие диковинные злаки могут произрастать в тишине. В конце концов, мой опыт опирался не только на эти дела, но и на службу в Стамбуле и в Бриндизи, на «домашнюю пекарню», в которой АНБ выпекает вовсе не булочки...

Пришаркивая, легонько волоча ногу, дыма дешевой сигарой, я, как заведенный, бродил по саду — не столько утомительное, сколько раздражающее занятие.

Легкий зовущий свист заставил меня насторожиться.

Я прислушался,

Свист повторился.

Не отзываясь, я бесшумно приставил к стене валявшуюся в траве лесенку Бауэра и внезапно поднялся над украшенным битым стеклом гребнем.

На дороге стоял человек.

Он приветливо ухмыльнулся. Он красноречиво хлопал короткой толстой рукой по накладному карману куртки, из которого торчала плоская фляжка. Маленькие глазки, слишком близко поставленные к переносице, помаргивали. Они были уже с утра затуманены алкоголем. Затасканные шорты, сандалии на босу ногу, желтая спортивная майка — тоже мне, бывший грек! Таких толстячков сколько угодно в любом уголке Файв-Пойнтса или Хеллз-Китчена. Но это, несомненно, был бывший грек Иктос.

— Новый садовник мистера Беллингера?

Для верности он навел на меня толстый указательный палец.

— У тебя-то, наверное, есть язык, — добродушно предположил он. — Спускайся на травку. У меня как раз есть свободное время. И еще кое-что есть, — хлопнул он себя по оттопыренному карману. — Бедняга Бауэр... Мы любили с ним поболтать.

— С глухонемым-то? — не поверил я.

Иктос возмущился:

— Ты бы посмотрел! Он все понимал. Ему говоришь, он кивает. Все, как на исповеди.

— Со мной это не пройдет.

— Что не пройдет? — Иктос удивленно уставился на меня. Смотреть снизу не очень удобно, его толстая шея и рыхлое лицо побагровели. — Откуда ты такой?

— Не твое дело.

— Грубишь, — бывший грек покачал головой. — Ты не похож на беднягу Бауэра.

— Это точно, — хмуро подтвердил я. — Со мной не больно повеселишься.

— Давно таких не видал, — признался Иктос.

— А по роже ты — человек.

— Здесь частное владение, — отрезал я. — Не следует тебе тут разгуливать.

Он ухмыльнулся:

— Частные владения — это там, за стеной. Там, где ты торчишь, — уточнил он. — А дорога принадлежит местным властям. Я свои права знаю.

И добавил, расплываясь в ухмылке:

— Я вижу, глоток тебе в самый раз будет, а?

Если честно, он был прав. Но я не собирался поощрять бывшего грека:

— Не пройдет. И плевать мне, кому принадлежит дорога. Будешь шуметь, пальну из ружья.

— Из ружья? — Иктос оторопел.

Я подтвердил сказанное кивком. Иктос расстроился:

— Странный ты какой-то. А зря. Тут в округе ни души, ты со скуки сбесишься. — Он растерянно присел на обочину. — Не хочешь выпить, так и скажи. А то — из ружья! Видал я таких! — И опять разулыбался: — У нас на станции бар есть. До станции ходу три мили, прогуляться — одно удовольствие. Мы по субботам там и собираемся. Приходи.

Мое молчание сбивало его с толку:

— Ты что, онемел? С Бауэром, клянусь, было веселее. Что там случилось с беднягой?

— Болезнь, наверное.

Иктос принял мои слова за шутку и обрадовался:

— Болезнь! Это ты хорошо сказал. Дика Гилберта в баре саданули бутылкой. Вот болезнь, да? Раскроили весь череп.

Он отвернулся, что-то там отыскал, и я мгновенно скользнул по лестнице вниз. Я не собирался с ним болтать, он мне не понравился. Сам по себе он не показался мне опасным, но вокруг таких типов всегда веет непредсказуемостью. На такие вещи у меня нюх. Пусть там посидит один, решил я, ему это пойдет на пользу.

Иктос действительно приятельствовал с покойным Бауэром, я это знал, но появление Иктоса меня насторожило.

Я не думал, что бывший грек может на кого-то работать — слишком болтлив, однако присмотреться к нему было не лишним.

Бар по субботам.

Я хмыкнул.

Я не собирался оставлять Беллингера наедине с судьбой даже на минуту.

Странный старик.

Он часами сидел один, в компании он не нуждался. Смотрел в небо, что-то обдумывал. Варил кофе. Странно еще, он никогда не подходил к телефону. А при глухонемом Бауэре? Кто-то же должен был это делать.

— Могут позвонить друзья, — заметил я как-то.

— Друзья? — Беллигер недружелюбно хмыкнул. — Что ты имеешь в виду?

— Ну, как... У всех есть друзья... Или там по делу, — попытался я выкрутиться. — Три дня назад звонил журналист... Какая-то газета... Обещали неплохие деньги...

— Деньги? — Беллигер вытянулся в кресле, размял одну ногу, потом другую. — Я сказал тебе, гони всех! Никаких встреч. Если встретимся, то на кладбище.

— Не надо так говорить.

— Заткнись, — Беллигер даже не повысил голоса, но было видно, командовать он умеет. — Если я сказал — на кладбище, значит, там и увидимся.

Я кивнул.

Не мое это дело — спорить с тем, кого охраняешь. Тем более, что он не догадывается об этом.

Есть такой анекдот: неврастеник является к доктору. Доктор, естественно, расспрашивает, как жизнь, да что у него за работа? — «Ответственная работа, доктор», — «Давайте конкретнее». — «Сортирую апельсины, доктор». — «Апельсины? Как это?» — «Ну как! Целый день по желобу передо мной катятся апельсины. Целый день я бросаю большие апельсины в одну корзину, средние — в другую, маленькие — в третью». — «Не худшая работа, — говорит доктор. — Наверное, успокаивает». — «Успокаивает? — взрывается неврастеник. — Да вы поймите, доктор! Целый день передо мной катятся апельсины, целый день я хватаю то один, то другой, целый день я вынужден делать выбор, выбор, выбор!»

Ладно.

Я тоже все время стоял перед выбором.

Мне следовало постоянно следить за стеной и садом, заниматься хозяйством и в то же время не упускать монологов Беллингера.



Говард Фаст, — ни с того ни с сего сердился вдруг Беллигер. Игра в партии, вход, выход... Он лично ставил не на таких людей...

Каждое слово его бессвязных воспоминаний записывалось людьми Джека Берримена, а я старался ничем не выказать своего интереса. Старик довольно быстро начал относиться и ко мне как к глухонемому. Меня это устраивало. Ничто так не успокаивает человека, как ощущение чужой тупости. Иктоса устраивал Бауэр, Беллингера устраивал я. Ему ведь и в голову не приходило, что благодаря мне где-то далеко от «города Сол» доктор Хэссоп, давний приятель, ежедневно анализирует каждое его слово.

Но если кто-то охотился за Беллигером, охотников я пока не видел. Как, впрочем, и настоящих следов.

— Мистер Ламби, — сообщил я Беллигеру, сняв телефонную трубку. — Вы будете говорить с ним?

— В субботу, — ответил Беллигер, и не думая подниматься с кресла.

— Вы будете говорить с мистером Ламби в субботу? — не понял я.

— Вот именно. Но не по телефону, а здесь. Он все знает. Передайте ему — как обычно.

— Как обычно, — сказал я в трубку.

Мистер Ламби все понял, он даже переспрашивать ничего не стал. Похоже, такие беседы были для них не редкость.

Занимаясь своими делами, я не терял возможности присмотреться к Беллигеру.

Откинувшись на спинку кресла, обхватив острые колени тонкими веснушчатými руками, старик часами всматривался в редкую листву дубов, темных, как предгрозовое небо.

Что он там видел? О чем он думал? Чем он занимался целых десять лет, проведенных на вилле «Герб города Сол»?

Конечно, не он один уходил из большой жизни.

Скажем, Грета Гарбо. Великая актриса провела в уединении чуть ли не треть века. «Хочу, чтобы меня оставили в покое», — сказала она однажды и сделала все, чтобы получить покой. Журналисты месяцами ловили ее у собственного дома, но она умела ускользнуть от них. Наконец, о ней забыли.

Или Элинджер, укывшийся в Вермонте под Виндзором.

Кто знает, чем он там занимается? Дэн-буддизмом? Поэзией? Или вообще ничем не занимается?

В последнее я не верил.

Человек не способен ничем не заниматься. Пусть неявно, даже не замечая этого, но он будет стараться изменить течение событий, разнообра-

зять их. Платон справедливо заметил: человек любит не жизнь, человек любит хорошую жизнь... Невозможно десять лет подряд произрастать как дерево. Если ты, конечно, вменяем. Невозможно десять лет подряд смотреть на облака, слушать цикад, любоваться розами. Рано или поздно тебе понадобятся люди, рано или поздно тебя охватит тоска по действию. С этим ничего нельзя поделать.

Обходя сад, я не раз думал об этом.

Год, еще год, еще... Жизнь уходит... Что примирало с этим Беллингера? Звон пчел? Само уединение? Небо, распахнутое над головой?

Ладно. Я не хотел в этом копаться.

Меня интересовала конкретная вещь — металлический сейф, установленный в кабинете. Выглядел он неприступно, но я не думал, что не справлюсь с ним. В свое время мы с Джеком прошли хорошее обучение.

Я ждал лишь удобного случая.

Старик ложился поздно, иногда в третьем часу. Он не всегда гасил свет, но это не означало бессонницы — просто он мог спать и при свете, привычка одиноких людей. Я убедился в этом, оставляя стул перед его дверью. Примитивная уловка показывала — если старик уснул, то это надежно.

В отличие от Беллингера, я ложился рано. Меня устраивал крепкий короткий сон, я по опыту знал: самые опасные часы — предрассветные.

Глубокой ночью я просыпался, бесшумно вставал и так же бесшумно спускался в сад.

Луна. Смутные тени. Душные ароматы лета, дубов, роз.

Мне надоело бездействие.

Особых развлечений сейф мне не обещал, но я нетерпеливо ждал того момента, когда им можно будет заняться.

И такой момент наступил.

Старик спал, в саду царил безмолвие, нарушаемое лишь цикадами.

Обойдя сад, я неслышно поднялся в кабинет.

Я не стал включать свет — три окна кабинета просматривались с южной стены. Я не думал, что за мной наблюдают, но рисковать не хотел.

Ночь... Микродатчики, разнесенные по всей стене, доносили до меня неясные шорохи. Ночь...

Самое поразительное — Беллингер не снабдил сейф никакой дополнительной защитой.

Я справился с шифром за полчаса.

Больше всего я опасался звуковых ловушек, но, похоже, Беллингера это и в голову не приходило.

Я включил потайной фонарь.

В сейфе, на двух его полках, лежали деньги, старые договора, какие-то документы, мало меня интересовавшие, зато я сразу обратил внимание на толстую картонную папку и на обшарпанный «вальтер». Вид у пистолета был вызывающий, но на месте Беллингера я бы завел оружие более современное.

И все же Беллингер держал в доме оружие...

Просмотрев документы, я обратился, наконец, к папке.

Наверное, воспоминания. Упреки в адрес Фаста и Стейнбека, похвалы Уилберу и Сарояну. Что-нибудь такое, я был в этом уверен.

С помощью фонаря я тщательно изучил положение папки в сейфе. При первой тревоге я должен положить ее на то самое место, где она лежала, и захлопнуть сейф. Это займет считанные секунды, но я должен быть готов. Все в сейфе должно лежать так, как предусмотрено стариком.

Я осторожно положил папку на журнальный столик. Микрокамера, смонтированная в кольцо, была готова к работе. Я не испытывал никакого волнения от мысли, что в принципе я, возможно, первый читатель новой вещи весьма известного писателя. Я вполне был удовлетворен тем, что моя догадка подтвердилась — эти десять уединенных лет старик не сидел без дела.

«Человек, который хотел украсть погоду».

Недурное название, хотя прежде Беллингер предпочитал более краткие. «Генерал». «Поздний выбор».

Ладно.

Я никогда не относил себя к рьяным поклонникам Беллингера.

Работая с камерой, я успевал еще и просматривать текст глазами. Роман. Вовсе не воспоминания, как я думал. Роман.

И, кажется, с авантюрной окраской.

Полярное белесое небо, собачьи упряжки, скрип снега. Два датчанина пересекали ледник.

Гренландия. Я усмехнулся.

В своих бессвязных отрывистых бормотаниях Беллингер, кажется, упоминал Гренландию. Но в каком-то другом контексте, не буквально, скорее, как символ.

Символ чего?

История — это не рассказ о событиях, история — это, скорее, описание человеческих поступков.

Введение Беллингера мне понравилось. Мой взгляд на историю, пожалуй, был близок взглядам старика.

Тренированным взглядом я схватывал страницу за страницей. Я пытался понять, в чем состоял замысел. В конце концов, может быть, именно из-за этого романа старик обрек себя на столь долгое одиночество.

Некий промышленник Мат Шерфиг (промышленник — в значении охотник, перевел я для себя) спасал вывезенного из Дании поэта Р. Финна.

Рик Финн. Сорок второй год.

Собачьи упряжки споро неслись по снежному берегу замерзшего пролива. Шерфиг нервничал: поэт оказался человеком капризным, он никак не мог осознать, что Гренландия — это не Париж и даже не Копенгаген. Рыбаки с риском для жизни вывезли из Дании опального поэта, и теперь Шерфиг обязан был доставить его на край света — в поселок Ангмагсалик. Мат Шерфиг нервни-

чал. Ему не нравилось белесое, прямо на глазах выцветающее небо.

На перевалочной базе в снежном иглу Мата Шерфига и его спутника ожидали верные эскимосы Авела и Этуктиш. Честно говоря, Шерфиг был рад, что не взял их с собой в путешествие на побережье. Такая погода пугает эскимосов, ведь небо перед пургой выцветает от дыхания Торнарсука — злобного духа, главного пакостника Гренландии.

Злобный дух... Беллингер рассказывал о Торнарсуке со знанием дела. Он уделил ему внимание не меньше, чем главным героям. Воздух, который выдыхает из себя Торнарсук, это воздух страха, насилия, крови. Даже Рик Финн, не знакомый с Гренландией, это почувствовал.

Я сразу отдал должное Беллингеру: старик, похоже, знал края, которые описывал. Человек, никогда не носивший кулету, вряд ли сможет так ясно описать эту шубу, не имеющую никаких застежек. Попробуй справиться с застежками на пятидесятиградусном морозе! Но дело было даже не в деталях, Беллингер *знал*, о чем пишет, иначе бы ему не создать той странной атмосферы, от которой даже по моей спине вдруг пробежал холодок.

Представления не имею, что могло загнать в Гренландию Беллингера, датчан в Гренландию загнала война. И насколько я понял, Рика Финна это вовсе не радовало. Он предпочел бы оказаться в Копенгагене. Даже рискуя попасть под арест (а Риком Финном интересовал ось гестапо), он предпочел бы оказаться сейчас не под полярным небом, а в Копенгагене. Очутись он там, он даже не стал бы прятаться. Он просто отправился бы в свою любимую кофейню — в ту, что расположена прямо против городской ратуши, под башней, на которой раньше полоскался желтый флаг, не однажды воспетый в стихах Р.Финна. Он бы попросил чашку кофе и молча смотрел на башню. Там, наверху, из глубокой ниши выезжает на велосипеде бронзовая девушка, если с погодой все хорошо; если погода портится — жди дородную даму с зонтиком.

Окажись он в Копенгагене, он обошел бы все любимые с детства места: кафе на цветочном базаре, ресторан «Оскар Давидсон», расположенный на углу Абульвара и Грифенфельдсгаде, тихие улочки, наконец, он просто посидел бы под бронзовой фигурой епископа Абсалона, застывшего, как все основатели больших городов, на вздыбленном навсегда коне.

А здесь?

Рик Финн с омерзением передергивал плечом.

Лед. Мрак. Собаки.

Меня, кстати, тоже окружала ночь, ничуть не менее тревожная, чем там, в Гренландии.

Беллингер никогда не был романтиком, уже в «Генерале» он предпочитал называть вещи своими именами. Рик



Финн в его обрисовке не вызывал симпатии — растерявшийся, в чем-то сломленный человек. И мысли у него были соответствующие. Нацисты — дерьмо, правительство Стаунига — дерьмо, потомки епископа Абсалона, отдавшие Данику немцам, — дерьмо, бывшие союзники — дерьмо, генерал Гамсуна — дерьмо.

Все дерьмо.

Морозный воздух густел, снег злобно взвизгивал под полозьями нарт, собаки дико оглядывались. Иссеченные ветрами плоскости скал казались нечеловеческими щитами. Но если Мат Шерфиг думал: «Вот место, куда не придут враги, вот место, где Финн будет в безопасности», то сам Рик Финн думал: «Вот место, где все напоминает могилу, вот место, где можно растерять все надежды».

Говорят, поэты — провидцы.

Не знаю. Не взялся бы утверждать. Но этот Рик Финн обладал интуицией.



На мой взгляд (возможно, от того, что я торопился), роман Беллингера грешил некоторым многословием. Там, где злобных духов можно было просто упомянуть, он зачем-то пускался в долгие рассуждения. Позже доктор Хэссоп пытался вытянуть из меня то, что не попало на пленку, но я мало чем смог помочь ему. Попробуйте, прослушав лекцию по элементарной физике, растолковать хотя бы самому себе, какие силы удерживают электрон на орбите или что такое гравитационное поле. Для меня все эти духи вместе с Торнарсуком бы ли на одно лицо. Если воспользоваться определением Рика Финна — дерьмо.

Я не сразу понял, кто является главным героем романа.

Ну да, человек, который хотел украсть погоду.

Но кто был этим человеком?

Поэт Рик Финн, растерявшаяся гордость Дании?

Но поэт Р. Финн уже в первой части романа был убит лейтенантом Риттером.

Лейтенант Риттер, поставивший на острове Сабин тайную метеорологическую станцию и обшаривавший со своими горными стрелками близлежащее побережье?

Возможно. Но лейтенант Риттер уже в первой части романа попал в руки промышленника Мата Шерфига.

Сам Шерфиг, наконец?

Но ведь где-то в середине романа он, похоже, по своей воле отправился к горным стрелкам лейтенанта Риттера.

Не знаю.

Я не просмотрел роман до конца, а Беллингер никогда не был сторонником ясных положений.

Смерть не бывает красивой.

Я знаю это. Я видел много смертей. Беллингер описывал смерть без красот и преувеличений.

Датчане наткнулись на горных стрелков прямо у своей перевалочной базы. Рик Финн был убит. Мата Шерфига сбили с ног и обезоружили. Он видел трупы Авелы и Этиктуша, валявшиеся рядом с иглу.

Лейтенант Риттер спросил: род занятий?

По-датски он говорил слишком правильно, оттого и вопрос прозвучал излишне буквально.

— Мужской, — ответил промышленник. — Стреляю зверей.

Лейтенант Риттер улыбнулся.

Высокие, до колен, сапоги, толстые штаны, толстый свитер (такие вяжут на Фарерах), сверху анорак с капюшоном — сразу было видно, одевала лейтенанта не организация по туризму. И вел он себя соответственно. Трупы закопать в снег, снаряжение забрать, иглу разрушить. И прочесать местность. Если кто-то тут еще есть (Шерфигу лейтенант не поверил) — убить. Этого человека я заберу с собой, — лейтенант указал на Шерфига. Мы отправимся прямо на остров Сабин.

Переснимая рукопись, быстро проглядывая ее страницы, я не забывал прислушиваться.

Цикады, писк летучих мышей, шорохи...

Лейтенанта Риттера и Мата Шерфига, пробирающихся к острову Сабин, окружил совсем другой мир.

Воздух был прокален морозом, и все же в его ледяном обжигающем дыхании чувствовалось уже неясное дыхание приближающейся весны. Пройдет время, снег сядет, запищат крошечные кайры, вскрывшиеся воды пролива приобретут сине-стальной цвет и пронзительно отразят в себе низкое и белесое гренландское небо.

Но весна лишь предчувствовалась.

Снег. Льды.

Подходящий пейзаж для нерадостных размышлений.

Сидя на нарте, Мат Шерфиг не оглядывался на бегущего рядом немца. Он знал, рано или поздно они сделают привал, невозможно добраться до острова Сабин, не сделав передышки.

Он надеялся: он сможет воспользоваться передышкой.

Он надеялся.

А пока собаки дико оглядывались, лица резало холодом.

Невидимый ветер ворвался с моря в узкий пролив.

Взметнулась снежная пыль, густо осыпала скалы, собак, людей и сразу понеслась вверх —

все выше, выше. Стремительными реками, вьющимися, широкими, презрев все законы физики — все вверх по отвесным скалам. И все вокруг сразу приобрело бледно-серый оттенок.

Лейтенанта Риттера погубила самоуверенность.

Его ничуть не мучила смерть эскимосов и Р.Финна. В конце концов, Р.Финн первым схватился за оружие, а лейтенант Риттер был обязан думать о благополучии горных стрелков и, разумеется, о благополучии Третьего рейха. Упусти он датчан или эскимосов, они вполне могли добраться до Ангмагсалика и вызвать британскую авиацию. Он, лейтенант Риттер, не мог им этого позволить: германская армия, разбросанная по всему континенту, нуждалась в погоде, а погоду с севера теперь давали его горные стрелки.

Шерфиг тоже не вызывал у лейтенанта особого любопытства. Ну да, вечерние допросы-беседы, это разнообразит жизнь, но не похоже, чтобы с датчанином можно было развлечься. Лейтенант даже особой вражды к нему не испытывал. Как, собственно, и к Дании. Такая маленькая страна не может существовать самостоятельно. Пока что ей просто везло. Везло при Карле XII, — не потерпи он сокрушительного поражения, Дания и сейчас оставалась бы провинцией Швеции; ей везло и в XIX веке, — не вмешайся в дело Россия, пруссакам досталась бы вся Ютландия...

Лейтенант Риттер твердо знал: мир должен принадлежать Германии. Это было точное знание, оно не требовало доказательств.

На каждого человека эйфория действует по-своему.

Упоенный легкой победой над датчанами, лейтенант Риттер устроил привал. Именно на привале, воспользовавшись удобным моментом, Мат Шерфиг отнял у него оружие.

В первый момент датчанин хотел пристрелить Риттера. Это развязало бы ему руки. Он мог добраться до Ангмагсалика, и тайна германской метеостанции перестала бы быть тайной. Но он вовремя перехватил взгляд лейтенанта — самоуверенный, даже наглый взгляд. Этот взгляд его отрезвил. Он, Шерфиг, не уберег эскимосов, он не уберег гордость Дании — Р.Финна, было бы непроситительно просто так отправить Риттера на тот свет. Он должен доставить лейтенанта Риттера в Ангмагсалик, только таким образом лейтенант будет лишен чувства внутренней правоты.

...Они шли через круглое береговое озеро, промерзшее до самого дна.

На отшлифованный ветром лед, тусклый и гладкий, как потертое зеркало, медленно падали вычурные крупные снежинки. Их кристаллические лучи сцеплялись, как шестеренки, лед на глазах покрывался фантастическими фигурами,

впрочем, их тут же сдувал злобный ветерок, вдруг прорывавшийся с промерзлого плато.

На западе, далеко, равнодушно стыли мертвые склоны внутренней Гренландии — обитель мрачных духов, возглавляемых Торнарсуком. Туда, на запад, стекаются души умерших людей. Эти склоны отливали голубизной утиног яйца. Такие же голубоватые, но полные внутренней мощи, стояли над льдами пролива айсберги, терпеливо ожидая того часа, когда воды вскроются и они, наконец, торжественно двинутся в свой извечный путь — туда, к мысу Фарвел...

Север в изображении Беллингера завораживал.

Я не знал, видел ли сам Беллигер заполярные пейзажи. Я не знал, умел ли он сам обращаться с оружием. Да, в его сейфе лежал «вальтер», но это еще ни о чем не говорило. Да, он уже десять лет укрывается от мира на своей вилле, но ведь это могло не иметь никакого отношения к его роману.



Страх...

Перелистывая страницы, я вслушивался в ночь.

Беллигер спал. Совсем недалеко от меня. В его спальне горел свет, но он спал.

Какую роль в романе играл он сам?

Ладно...

Я прислушался. Ночь была тиха. Луну закрыла облачка, потом на сад вновь проливался свет.

Роман Беллингера был густо пропитан страхом.

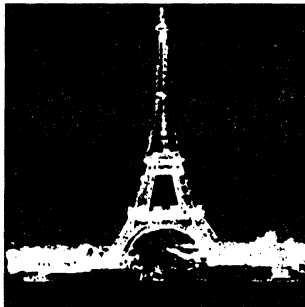
Страх витал в белесом морозном воздухе, страх свирепо дышал в затылок лейтенанту Риттеру, страх заставлял Мата Шерфига торопить усталых собак.

Шерфиг знал — приближается ночь, значит, страхи еще больше сгустятся. Он не мог делить спальный мешок с врагом. Гуманнее было бы пристрелить лейтенанта...

И все же Шерфиг решил доставить Риттера в Ангмагсалик. Достаточно смертей. Как это ни странно, промышленник Шерфиг боялся смерти.



Ветер, дувший с полюса, сделал свое дело: снег плотно било, все гребни срезало, неровности занесло. Усталые собаки дико оглядывались на людей. На фоне неожиданных бледно-розовых облаков вдруг возникла, высветилась золотистая вершина, околонтуренная невидимым солнцем. Снизу, на побережье, подошву горы обнимал бе-



лый туман, нанесенный с моря — там чернели промоины.

Совсем как возле Ангмагсалика, подумал Шерфиг, туман, а сверху невидимое солнце. Только там, возле Ангмагсалика, чернеют каменные дома. Сколько раз он, Мат Шерфиг, ни подъезжал к Ангмагсалику, там всегда висел туман. Туман белый, сквозь него проступали черные постройки и скалы. Иногда в тумане выла эскимоска. Мерзкий холодок трогал кожу, вой эскимоски рвал сердце. Может, у нее утонул на рыбалке муж, она боялась, что полынью затянет льдом. Тогда душа утонувшего не сможет отправиться на запад. Своим горестным воем эскимоска отгоняла от полыньи Торнарсука.

Страх...



Впоследствии доктор Хэссоп не раз возвращался к этим страницам. Он считал: где-то здесь в душе Беллингера начался перелом, заставивший его изменить направление.

Не знаю. Иногда действия Шерфига были мне по душе.

Он, например, очень просто решил проблему безопасности. Когда немец указал вдаль: «Ну-наксоа! Медведь!» — он сразу понял, что медведь послан ему самой судьбой. Сбросив лейтенанта с нарт, он тотчас устремился в погоню. И я понял Шерфига, как, впрочем, ощутил и чувства Риттера. Он один. Вокруг только холод. Упряжка удаляется. Он брошен? Совсем брошен? Датчанин бросил его замерзать?

Лейтенант Риттер внезапно оказался свободным, но, боюсь, эта мысль не принесла ему облегчения. Он один. У него нет оружия, нет еды, нет собак. Он не в силах пересечь ледяную пустыню, он не в силах добраться ни до Ангмагсалика, ни до острова Сабин. Вряд ли горные стрелки хватятся его раньше, чем через сутки.

Страх...

Беллигер не скупился на убеждающие детали. Он и меня заставил задохнуться от отвращения: ведь, вернувшись, датчанин почти насильно накормил лейтенанта горячей печенью убитого медведя. Кровь текла по небритому подбородку Риттера, но он глотал омерзительные куски. Он не хотел, чтобы пули собственного автомата разбили его голову.

...По дну затененной долины растекался белесоватый мороз. Тысячи иголок, как шампанское, кололи ноздри.

«Я ничего не вижу», — прохрипел Риттер.

«А тебе и не надо ничего видеть, — прохрипел в ответ датчанин. — Теперь я твой поводырь. Тебе придется терпеть. Потом еще с твоих ладоней ключьями слезет кожа — печень мед-

ведя перенасыщена витаминами. Но это не навсегда. Ты убил Финна и эскимосов — это навсегда. А твоя слепота не навсегда, тебе придется терпеть».

Страх...

Ледяные кристаллики медленно падали с низкого неба, скапливались на плечах, в каждом сгибе одежды. Их призрачный блеск утомлял глаза, воздух сиял, как радуга. Но не меньше, чем этот тусклый блеск, Мата Шерфига мучила ненависть. Она усилилась, когда он провёл отобранное у Риттера письмо, которое лейтенант адресовал в Берлин — в город, в котором Шерфиг никогда не был, но в котором, без всякого сомнения, бывал в свое время Рик Финн.

«Герхильд, — писал Риттер своей жене. — Сервер мне по душе. Это мой край. А мои друзья — бывалые люди. Некоторые из них ходили по скалам Шпицбергена еще до войны. Так что, когда ты получишь письмо, знай: я не один, меня окружают крепкие верные люди. Мы питаемся кашей и бобами, черным хлебом и пеммиканом — у нас достаточно сил. Ты знаешь, я всегда хотел быть сильным, прямым, и чтобы кулаки у меня были тяжелые, и чтобы я мог объясняться на двух-трех языках. Так вот, Герхильд, я силен и прям, и кулаки у меня тяжелые, и я свободно изъясняюсь с любой миссис Хансен. Почему-то в Дании, — писал лейтенант, — большинство миссис — Хансены... А еще здесь любят свечи, здесь много свечей. Есть круглые, есть витые, есть плоские, как блюдца, есть здоровенные, как поленья, — какие угодно, Герхильд! Как только закончится война...»

Лейтенант Риттер не знал, что для него война уже закончилась.

Этого, правда, не знал и Мат Шерфиг, лежащий в спальном мешке рядом с полуслепшим, сгорающим в жару лейтенантом. Немец стонал, от него несло жаром и ненавистью. Проще было убить его, подумал Шерфиг.

Яркая звезда — Тиги-су, Большой гвоздь, ее еще называют Полярной — пылала над людьми, сжигаемыми ненавистью. Мат Шерфиг понимал всю условность сравнений, но звезда Тиги-су действительно казалась ему гвоздем, намертво припилившим к гренландскому леднику и собаку, и его самого, и лейтенанта Риттера.

Я насторожился.

Шорох и скрип... Так может скользнуть подошва по бетону... Опять шорох... И тишина.

Я не стал терять время.

Тяжелая папка аккуратно легла в сейф на положенное ей место, массивная дверца сейфа захлопнулась.

Выключив потайной фонарь, я бесшумно подошел к открытому окну и всмотрелся.

Смутная тьма дубов... Я ничего не видел...

Но снова шорох. И снова тишина.

Я не верю тишине. Самое худшее всегда происходит в тиши, незаметно.

Я внимательно вслушивался. Не знаю, был ли кто-то в саду. По крайней мере, я ничего больше не слышал.

Скользнув в открытое окно, я мягко приземлился в цветочной клумбе.

Еще секунда, и я нырнул в тень дубов.

«Магнум», как всегда, находился под мышкой. В любой момент я готов был пустить оружие в ход.

Опять подозрительный шорох...

Шорохи то приближались, то удалялись. Было отчаянно темно. Прекрасная ночь для любой противозаконной акции, подумал я. И усмехнулся: для законной тоже.

Час, а может, все полтора я чуть ли не на ощупь исследовал сад.

Ни души.

Металлическая лесенка Бауэра лежала там, где я ее оставил днем. Душный аромат роз пропитывал воздух. Если кто-то и побывал в саду, я не мог сейчас увидеть никаких следов.

И все это время, как ни странно, меня преследовали мысли о рукописи. Перед тем, как сунуть в сейф, я заглянул в ее конец. Беллингер умел строить сюжет. Лейтенант Риттер не отобрал автомат у Шерфига, но они изменили курс — они шли теперь к острову Сабин. Мат Шерфиг шел туда добровольно.

Почему? Что случилось на полдороге к Ангмасалику?..

Наконец, я прекратил поиск и устроился в траве рядом с канавой, ведущей к хозяйственным приборкам.

Ледяная тоска замороженных гренландских пространств все еще покалывала мои нервы. Слишком большой заряд злобы и ненависти был впрессован в рукопись, я никак не мог отойти от нее.

Снова шорох... Удаляющийся, невнятный...

Просидев в траве еще полчаса, я решил подняться наверх. Следовало хотя бы час поспать, силы могли мне понадобиться. Следы, если они есть, я отыщу утром, ну а рукопись...

Рукопись никуда не денется.

В этом я был убежден.

Я проспал не более часа, но полностью восстановил силы.

Зато Беллингер и не думал подниматься.

Выпив кофе, я отправился в обход стены. Розовые утренние облака башнями стояли в небе, тянул ветерок — природа тонула в пышной умиро-

творенности. Я внимательно присматривался к каждому кусту, исследовал все подозрительные участки. Но никаких следов не нашел.

Зато, обескураженный, я услышал знакомый свист.

Ну да, Иктос, конечно. Что надо от меня бывшему греку?

Поднявшись по лесенке, я недовольно глянул за гребень стены.

— Сколько бутылок побили, — укорил меня Иктос. Он имел в виду осколки, торчавшие из бетона. Хитрые глазки Иктоса бегали. — Ужасное количество. Твой хозяин не дурак выпить, а?

— Он вообще к выпивке не притрагивается.

— А откуда столько бутылок? — резонно возразил Иктос. — Никогда не встречал людей, не притрагивающихся к выпивке.

— Тебе просто не везло.

— Не злись, — Иктос похлопал по оттопыренному карману. — Спускайся сюда на травку, — он, видимо, запомнил мою угрозу и не собирался вторгаться на территорию виллы. — Утро только началось, а ты уже злишься. Дерьмовый у тебя характер, скажу я тебе.

Наверное, он мог говорить долго, но его прервали.

Из-за поворота, мягко урча, мягко приминая жесткую травку, выкатился открытый фورد. За рулем сидел удивительный человек: белый костюм, белые перчатки, белая шляпа, такое же белое, да нет, конечно, просто бледное лицо; зато усики, единственное его украшение, казались черными до неприличия.

— Кажется, я заблудился, — человек в белом с любопытством взглянул на Иктоса, потом на меня. — Там дальше есть дорога?

— Только куда везецо, — у Иктоса от удивления отвалилась челюсть. Этим он сразу снял мои сомнения, вряд ли они виделись раньше.

Человек в белом сунул руку в перчатке куда-то под приборный щиток и извлек на свет божий пластиковую пластинку.

— Вилла «Куб». Некто Раннер. Это здесь?

Он глядел на меня. Я недовольно кивнул в сторону Иктоса:

— Спросите у него. Он знает.

Нет, нет, они никогда не встречались. Это я понял, и меня это успокоило.

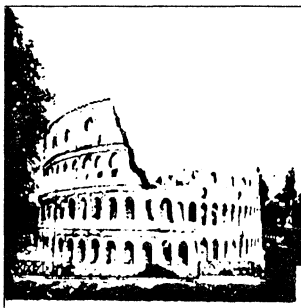
— Вилла «Куб»? — Бывший грек никак не мог совладать с собой. — Это рядом. Вы проскочили мимо.

— Отлично! — Человек в белом непонятно чему обрадовался. — Похоже, места тут не густо заселены. Я не ошибся?

— Да уж...

— А дальше? Там совсем, наверное, пусто?

— Я же говорю, — Иктос сгорал от любопытства. — Там дальше и вездеход не пройдет. Лес. Болото. И еще болото, и снова лес. Такие места.



— Сами выбирали, — человек в белом ухмыльнулся. — Хочешь заработать бумажку?

Он смотрел на меня. Я хмуро откликнулся:

— Смотря как.

— Разумеется, честно.

Иктос завистливо кашлянул, показывая, что он тоже не прочь заработать бумажку, но человек в белом и бровью не повел:

— По запаху слышно: у тебя там неплохой цветник... Розы? — Он смотрел на меня. Он был такой чистенький, такой белый, что лучше бы ему не закатывать глаза — вылитый покойник.

— Что есть, то есть, — проворчал я.

— Ну как, сговоримся? Нарезешь бутонов? Хочу удивить Раннера.

— Разве он приехал? — спросил я.

— Разве он уезжал? — удивился человек в белом.

— Разве он собирался приехать? — подвел итог Иктос. Ему явно не хотелось, чтобы на неожиданном госте заработал я. — Мистер Раннер всегда сообщает о приезде заранее, но я ничего такого не получал... И о гостях... — Он подозрительно почесал голову. — И о гостях я ничего не слышал...

— Вот как? Ты с виллы «Куб»? — Человек в белом цепко осмотрел Иктоса. — Судьба справедлива. Выходит, я не зря проскочил мимо.

— Почему это?

— Ты же говоришь, хозяина нет. Я бы потерял время и деньги.

— Не знаю, — пожал плечами Иктос. Он, наконец, пришел в себя. — Бутонов я сам могу вам нарезать. Это будет справедливо. Вы же к мистру Раннеру ехали.

— Прыгай в машину, — приказал человек в белом. И добавил: — Сосед у тебя не слишком общительный, да?

Не знаю, что ответил Иктос. С веранды до меня донесся голос Беллигера:

— Айрон!

— Иду, — откликнулся я.

Появление человека в белом мне не понравилось. Я был полон сомнений.

— Айрон!

Я уложил лесенку под стеной и, не торопясь, поднялся на веранду.

— Не больно ты тороплив, — старик остро, не по-стариковски, взглянул на меня. — Что это за имя — Айрон? — Он вдруг процитировал: — «Зовите меня Измаил»... Кто тебя окрестил Айроном?

— Родители.

Старик удрученно уставился в кофейную чашку.

Что он видел на ее дне, в мутных, расплывшихся разводах? Тень человека? Гадалки говорят, это означает свидание... Или очертания неизвестных домов? — обещание богатства... Или башни? — обещание покоя и отдыха...

Не знаю.

Я никак не мог выбросить из головы его рукопись. Что, действительно, заставило Мата Шерфига изменить путь? Что ожидало его на тайной метеостанции? Разве не враги, убившие его друзей?

Кажется, я невольно улыбнулся: я подпал под влияние старика! И он заметил мою улыбку.

— Айрон, — сказал он, подозрительно меня осматривая. — Сегодня нам понадобится обед. Не надо никаких ухищрений, но что-нибудь не совсем примитивное... Ты ведь справишься?

Я кивнул.

— Даже я с этим справлялся, — ухмыльнулся старик.

— Во сколько ждать мистера Ламби? — Я помнил, что свидание назначено на субботу.

Беллингер опять насторожился:

— Зачем тебе это знать?

— Чтобы все приготовить вовремя.

— Займись обедом прямо сейчас, и ты успеешь.

— Но мистеру Ламби надо будет открыть ворота.

— Он просигналит, и ты услышишь. — Старик, несомненно, темнил, я не мог понять — почему.

Я промолчал. Это удовлетворило Беллингера.

— Запомни, — заметил он не без некоторой торжественности. — Я не люблю, когда нарушают гармонию. Твои вопросы не по делу. — И, несколько противореча себе, закончил: — Если понадобится, задай вопрос. Если он по делу, я отвечу.

Я кивнул.

Одиночество, похоже, не прошло для старика бесследно. Он легко срывался. Правда, так же легко он и отходил.

— Айрон Пайпс, — выпрямился он в кресле. — Когда-то я писал книги. Тебе это, наверное, непонятно, но написание книги это всегда тайна. Неважно, чему посвящена твоя книга, но если это настоящая книга, она всегда говорит о будущем. Если даже ты пишешь о короле Артуре. Когда я начинал очередную книгу, Айрон, я думал черт знает о чем, но всегда получалось так, что я думаю о будущем. Это мне и Сароян говорил, а ему я верил. Когда я писал свои книги, Айрон, я каким-то образом предвидел все, что случится потом, даже этот сад, даже эти беседы...

— И меня?

Моя тупость его удивила:

— Ты считаешь себя некоторой величиной?

Я пожал плечами:

— Почему бы и нет?

Он задумчиво оглядел меня, но не стал развивать эту тему:

— Когда я писал «Генерала», я не знал ничего о том, что может произойти в следующей главе. Мне будто кто-то нашептывал слова, а я их записывал. Приятное было занятие. Я сильно и не задумывался. Просто ставил перед собой машинку

и отстукивал столько страниц в день, сколько мне было прошептано... Хочешь спросить — кем?.. Да я и сам не знаю. Но никогда не случилось такого, если я вдруг садился за компьютер. Я никогда поэтому не работал с компьютером. На компьютере всегда работал Артур... Что-нибудь тебе говорит это имя — Кларк?.. Молчи, молчи, — махнул он рукой. — Ты, наверное, знал Кларков, но этот не из них. Этот всегда писал о будущем, но он писал с помощью компьютера, поэтому его будущее всегда не для людей. А вот я, — заявил он вдруг хвастливым, даже лихим тоном, — я всегда подслушивал вечность. — И закончил, чуть ли не с тоской: — Интересно, ты ее слышал?

Я пожал плечами. Я никогда еще не видел его столь говорливым. Может, так на него действует ожидание встречи с мистером Ламби?

Я вздрогнул. За глухими металлическими воротами виллы «Герб города Сол» раздался чей-то уверенный голос.

— Я не слышал машину, — сказал я, глядя на Беллингера. — Это мистер Ламби?

— Наверняка он, — старик прищурился. — Он не приезжает сюда на машине. Он приезжает поездом, а сюда добирается пешком. Редкий случай подышать чистым воздухом.

Литературный агент, разъезжающий на поездах — это меня удивило.

Еще больше удивился сам агент.

Мистер Ламби оказался относительно молодым человеком, но его голову покрывала седая шевелюра. Зеленоватые глаза, уверенная улыбка, плечи спортсмена. Такие люди внушают доверие, хотя я бы предпочел, чтобы литературный агент Беллингера приезжал на автомобиле, а не появлялся столь неожиданно.

При мистере Ламби не было ни портфеля, ни сумки.

— Спасибо, Айрон, — произнес он, когда я открыл ворота.

— Вы знаете мое имя?

— Плохим бы я был агентом, не знай таких пустяков. — Он доверительно улыбнулся. Он явно изучал меня. — Знать все о жизни мистера Беллингера — моя обязанность. Между нами говоря, старик заслуживает внимания. Я прав?

После сегодняшней ночи я вполне разделял его мнение.

Я кивнул.

— Айрон, — сухо сказал Беллингер, когда мы поднялись на веранду. — Займись обедом.

Это означало: убирайся к чертям. Я и убрался — на кухню. Мне незачем было присутствовать при их беседе: где бы я ни находился, я слышал каждое их слово. Об этом позаботились люди Берримена, нашпиговавшие датчиками всю виллу.

«Эта книга будет как взрыв, — голос мистера Ламби действительно был полон уверенности. — Мы ждали достаточно долго. Надеюсь, вы тоже понимаете — теперь пора».

Наверное, они говорили о романе.

«Мне кажется, можно было бы еще подождать...»

«Чего?»

Беллингер не ответил. Может, просто пожал плечами.

«Вы слишком строги к себе. Это строгость мастера, я понимаю, но время пришло. Надеюсь, ваш комментарий тоже готов?»

Беллингер проигнорировал последний вопрос. Он сам спросил:

«А переезд?»

«Ну, с этим все в порядке, — уверенно заявил мистер Ламби. — Вам понравится выбранное нами местечко. Уютное, тихое. Есть горы, и есть озеро. Все, как вам хотелось. — Мистер Ламби вдруг понизил голос: — Кто этот человек?»

Он спрашивал обо мне. Беллингер ответил:

«Мой садовник».

«Это я знаю. Кто его рекомендовал?»

«Доктор Хэссоп».

«Это надежно, — сказал, помолчав, мистер Ламби. — И все же вы нарушили договор. Садовника должен был найти я».

«Теперь, когда я решился, это не имеет значения».

«Да, — согласился литературный агент. — На новом месте вас будут окружать новые люди. Я на них полагаюсь, как на себя».

Они помолчали.

Я хлопотал над плитой, готовя немудреный обед, к которому мы привыкли.

«Ламби, — услышал я голос Беллингера. — Поднимись вверх. Наверное, ты прав, хотя я подождал бы еще. Поднимись вверх и заberi рукопись. Комментарий я представлю чуть позже».

Комментарий!

Я не знал, что к роману Беллингера существует еще и комментарий. И в сейфе ничего такого не видел... Этот Ламби заберет рукопись?

Это меня не устраивало. Унеси он рукопись, я не смогу ее переснять... Но мистер Ламби действительно поднимался в кабинет, шифр сейфа, наверное, ему известен...

— Айрон!

Сполоснув руки, я вышел на веранду.

— Айрон, у вас есть лед?

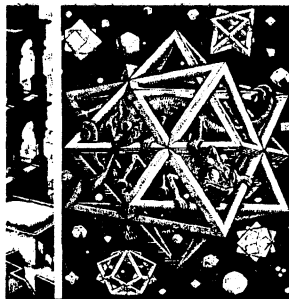
Я кивнул.

— Наколи. Лед нам понадобится.

Но я не успел наколоть льда — наверху, в кабинете, глухо и страшно ухнуло. Взрыв не был громким, но даже меня пробрало понастоящему. На какое-то время я забыл о том, что я лишь придурковатый, не очень ловкий садовник, и бросился вверх по лестнице.

Через несколько секунд я стоял в кабинете.

Расщепленная дверь валялась на полу, в воздухе плавал сладковатый запах пластиковой взрывчатки, пахло дымом. Везде валялись книги и ворохи



бумаг; под окном лежала сорванная взрывом массивная дверца сейфа.

Там же, ничком, лежал мистер Ламби. Не человек, кровавое месиво.

Мой прокол. Это был мой прокол, ничей больше.

Взрывчатку в сейф могли заложить только под утро, только в то время, когда я рыскал по саду. Меня провели. Я искал неизвестных где-то вне дома, а они были в самом доме, может, они даже воспользовались распахнутым мною окном. Вошли, вскрыли сейф, забрали рукопись и начинили сейф взрывчаткой.

Порывшись в бумагах, застилавших пол кабинета, я убедился: страниц из знакомой мне рукописи тут не было.

Я перерыл все бумаги, разбросанные по кабинету — к рукописи они не имели отношения. Черновики к «Генералу» (Беллингер, несомненно, преувеличивал, утверждая, что текст был напечатан ему свыше), документы, старые письма. Нашлись клочки сгоревших купюр, но не было никаких следов толстой папки, хотя, например, отыскался «вальтер». К моему удивлению, он несколько не пострадал. Я машинально сунул пистолет в карман.

Меня провели.

Это не было полным провалом, но меня провели. Пока я прикидывал, означает ли что-нибудь появление человека в белом, пока я изучал Беллингера и его быт, пока я мотался по ночному саду, за мной, похоже, внимательно следили...

Если бы рукопись сгорела, я нашел бы ее клочки, какие-то хлопья пепла. Хлопья, собственно, находились, но принадлежали они не рукописи.

Меня обыграли. Чисто и тонко.

Смерть мистера Ламби надо будет объяснить — вокруг Беллингера могла возникнуть шумиха.

— Джек, — сказал я негромко (каждое мое слово фиксировалось потайными постами), — мне нужна помощь. Ламби убит, сейф взорван, рукопись исчезла. Не стоит вовлекать в это дело полицию.

Я знал, минут через десять появятся люди Берримена, он на то и профессионал, и, еще раз пройдясь по кабинету, медленно, стараясь прихрамывать и волочить левую ногу, спустился вниз, на веранду.

Невероятно, но старик даже не встал с кресла. Казалось, взрыв не имел к нему никакого отношения. Однако взглянул он на меня с любопытством:

— Ну? Что это было?

— Взрыв.

— Взрыв... — повторил он с таким видом, будто ожидал чего-то подобного. — А Ламби?

— Боюсь, мистер Ламби мертв.

— Вот как? — Он действительно смотрел на меня с любопытством. — Мертв?

— Мертвее не бывает, — заверил я. — Вы подниметесь в кабинет?

— Зачем?

— Ну, — пожал я плечами. — Может, пропало что-нибудь... Сейф ведь не был пуст... А полицию я уже вызвал...

— Полицию? Какого черта! — взорвался было старик. Я негромко напомнил:

— А мистер Ламби?

— Ах, Ламби... — Он сгорбился за столом, но я мог поклясться, что он не так уж расстроен.



Игру с «полицией» затягивать никто не хотел.

Труп мистера Ламби унесли в одну из машин. Люди Берримена, переодетые в форму, обшарили весь кабинет, прошлись по саду. «Рукописи в сейфе не было, — шепнул мне Джек, когда мы спускались по лестнице. — Я имею в виду, перед взрывом. Правда, неясно, кого хотели убрать. Это мог быть ты, мог оказаться старик. Скорее всего, старик. Зачем и м ты или тот же Ламби?»

— Мистер Беллингер, — сказал он, когда мы, наконец, оказались на веранде. — Я задам вам несколько вопросов. Вы можете отвечать?

— Почему нет? — Тон старика не выглядел дружелюбным. — Но я бы не хотел, чтобы вы тут задерживались.

— Что вы хранили в сейфе?

Беллингер выпятил сухие губы:

— Ничего особенного. Кое-какие бумаги, личность. Все то, что не бросишь просто на столе.

— А взрывчатку?

— Я похож на сумасшедшего?

— Это не ответ.

— Нет, не хранил. Взрывчатку я не хранил, — Беллингер облизал сухие губы. — Но в сейфе лежал пистолет. Старый «вальтер». Могу показать разрешение...

Он усмехнулся:

— Если разрешение уцелело.

— Ничего. Мы проверим. — Джек держался отменно вежливо. — Это все? Ничего больше вы в сейфе не держали?

— А что там можно еще держать?

— Это не ответ.

— Нет, ничего больше в сейфе я не держал.

Мы с Джеком незаметно переглянулись. А рукопись?

Почему Беллингер не вспомнил о рукописи? Почему смерть мистера Ламби так мало его тронула? Он был готов к чему-то такому?

— Но сейф взорвался, мистер Беллингер.

— Я это слышал.

— Вы утверждаете, что гостей у вас не бывает. Как же вы объясните взрыв?

— Разве объяснять должен я?

— У вас есть враги? Я имею в виду серьезных врагов, не выдуманных, то есть таких, что способны на крайности.

— У кого их нет?

Вопрос прозвучал философски. Нам с Джеком он не понравился.

— Большинство людей, мистер Беллингер, все-таки умудряются прожить жизнь без того, чтобы у них взлетали сейфы на воздух.

— Ну, я всегда относился к меньшинству, — ухмыльнулся старик. — Я одинок и провожу дни в уединении. Я здесь укрылся для того, чтобы уберечься от газетчиков, сыщиков, нищих, хамов, а может, и от того, что сегодня случилось. Не знаю, какой вариант кажется вам более реальным, выбирайте любой. Но должен заявить, я не люблю гостей. За последние десять лет вы первые, кто ступает на мою землю.

— А мистер Ламби?

— Мистер Ламби не гость. Он на меня работает.

— Работал, — напомнил Джек.

— Работал...

— Вы хорошо его знали, мистер Беллингер? Вы были уверены в нем?

Беллингер задумался. В его глазах промелькнула тень озабоченности. Ему явно не хотелось связывать смерть мистера Ламби с чем-то, о чем знал только он.

Бедняга Ламби...

Вслух Беллингер сказал:

— Мистеру Ламби просто не повезло.

— Что вы имеете в виду?

Беллингер неопределенно пожал плечами. Он явно пришел к какому-то своему выводу, и этот вывод его успокоил. По крайней мере, выглядел он успокоенным. У него пропала рукопись, у него был разрушен кабинет, у него убило литературного агента, а выглядел он успокоенным.

Я взглянул на Джека, и он понял меня:

— Оставить вам охрану, мистер Беллингер?

— Зачем? Чтобы ваши люди слонялись по саду и нарушали гармонию?

— Гармонию? — не понял Берримен.

— Ну да, — старик ухмыльнулся. Похоже, он действительно не любил полицейских. — Терпеть не могу чужих людей.

— Опасно оставаться одному, — предупредил Берримен.

— Я не один. У меня есть садовник, — Беллингер взглянул на меня. — Не в меру приткий, это мне даже нравится. Думаю, ничего особенного нам не грозит.

— Ничего особенного?

— Вот именно.

Прихрамывая, волоча левую ногу, я спустился с веранды и проводил «полицейских». Уже у ворот, когда я возился с запорами, Берримен шепнул: будь настороже, Эл, они вернутся. Похоже, рукопись они получили, но им надо проверить, как чувствует себя старик. Он, Берримен, почти уверен: взрывчатка предназначалась для старика.

Будь осторожен, Эл.

Берримен повторил это несколько раз.

Будь осторожен, Эл. Шеф и доктор Хэссоп считают, что визит будет повторен. Они захотят убедиться, что Беллингер мертв. Скорее всего, они нагрянут в ближайшее время. Если рукопись существует в единственном экземпляре, им будет приятно убедиться, что сам старик исчез. Но мы ведь знаем, это не так. И когда это увидят и они, здесь будет жарко. Помни одно: чтобы заблокировать виллу и прийти тебе на помощь, нам надо примерно десять минут. Поэтому, Эл, что бы тут ни происходило, ты обязан продержаться десять минут. Иначе зачем нам все эти игры? Правда?

Берримен ухмыльнулся.

Его инструкции касались не только таких общих тем. Помни, шепнул он, это не главное. Шеф и доктор Хэссоп просили напомнить: им нужен живой свидетель. Живой. Ясно, Эл? Что бы тут ни происходило, пусть даже на тебя выйдет целый батальон алхимиков, одного ты должен захватить живым.



— Боюсь, вам опасно здесь оставаться.

— Это мой дом, Айрон. Почему я должен кого-то бояться?

Он так и не воспользовался виски и льдом, принесенным мною из холодильника.

— Вы умеете стрелять?

Старик неопределенно хмыкнул.

— Ваш «вальтер» уцелел. — Я выложил на стол обшарпанный пистолет. — Я нашел его на полу в кабинете. Не думаю, что вам придется стрелять, но лучше пусть пистолет будет у вас под рукой. Ну, а если стрелять все же придется, бог с ним, палите куда угодно, только не в меня.

— А ты, выходит, умеешь стрелять, Айрон?

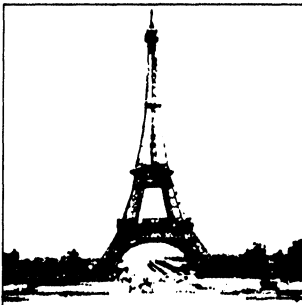
— Я служил в армии.

Беллингер хмыкнул. Впрочем, он недолго интересовался мною. Какие-то мысли его все же тревожили, он задумался.

Мне тоже было над чем подумать. От кого он на самом деле прячется? Кого может интересовать его рукопись? Я, понятно, имел в виду не какие-то литературоведческие аспекты. И если роман для кого-то представляет столь повышенный интерес, почему Беллингер так мало тронут его потерей? У него есть другие экземпляры? Или он сам хотел, чтобы рукопись украли?

Черт побери, сказал я себе. *Такой ценой?*

Я ничего себе не объяснил. Напротив, возникли некоторые другие вопросы. Скажем, а кому действительно так срочно могла понадобиться рукопись? И для чего? Появление мистера Ламби ускорило акцию или Ламби тут ни при чем? Беллингер собирался опубликовать рукопись. Сам роман или комментарий к нему действительно могли вызвать шум? Мистер Ламби собирался переправить старика в другое



место? Ну да, уютное, тихое. Есть горы, есть озеро. Это я помнил. Значит, именно Беллингеру угрожала не ведомая опасность, и прятался он тут вовсе не от газетчиков.

Поведение старика ставило меня в тупик.

Он ни разу не поднялся в изуродованный взрывом кабинет, он не проводил к машине тело своего литературного агента, он, как всегда, полужелал в своем низком кресле и рассеянно следил за порханием пестрых бабочек, вдруг поналетевших в сад.

Бабочки взлетали, трепеща крылышками, садились на белоснежные цветы нежных лун, раскачивались на розовых веточках. Солнце лениво играло в колеблющейся листве, может, поэтому на лице Беллингера то появлялась, то исчезала странная, как бы его самого удивляющая улыбка, может, поэтому в его глазах время от времени проскальзывало такое же странное удовлетворение.

В воздухе, на мой взгляд, пахло Гренландией, но старику было наплевать.

Машины давно ушли. На тайных постах люди Берримена вновь слушали нас. День катился к вечеру.

— Откровенно говоря, — заметил я, — никак не думал, мистер Беллингер, что служба у вас окажется столь хлопотной.

— Для садовника ты выражаешься красиво. Даже слишком красиво, а, Айрон?

Беллингер вдруг подмигнул мне.

Я не ошибся.

Он действительно подмигнул, так, будто нас связывало что-то, известное только нам двоим.

Не работает ли он на доктора Хэссоба?

Да нет, конечно, остановил я себя. Кто согласится ради некоей неизвестной цели отдать десять лет жизни? Кто согласится ради некоей неизвестной цели десять лет служить приманкой, понимая, что приманку эту могут заглотить в любой момент?

А если цель известна?

Я еще раз взглянул на старика, но его лицо уже закаменело. Это был прежний Беллингер. Он уже не видел меня. Он никого уже не хотел видеть.



В тысячный раз обходя бетонную стену, я задумался: а как, собственно, попадают в «город Сол» мои невидимые противники? Как они перебираются через стену, оснащенную микродатчиками? У них есть подавляющая аппаратура? Они каким-то образом следят за моими передвижениями?

Скорее всего, следят.

Исходя из этого, можно считать, что взрывчатка в равной мере могла

предназначаться как мне, так и мистериу Ламби.

Почему Беллингер мне подмигнул?

А почему нет? Он видел, как я рванул по лестнице, он мог подметить еще какие-то детали. Кроме того, меня рекомендовал доктор Хэссоп, а уже одно это предполагало — садовник не будет обычным садовником, на него, не в пример, скажем, Иктосу, можно будет положиться.

Я так задумался, что не сразу услышал шаги.

Кто-то шел по центральной аллее.

Реакция была мгновенной: я укрылся за ближайшим дубом. Мощный, раскидистый, он как нельзя лучше подходил для этой цели, но и мешал видеть.

Прождав секунду, я отвел в сторону мешавшие мне ветви.

Кто-то из людей Берримена вернулся? Или сам старик неожиданно решил прогуляться по саду?

Увиденное меня ошеломило.

По центральной аллее с важным, даже напыщенным видом шествовал Иктос. Правая его рука надежно покоилась в накладном кармане курточки. Может, он сменил фляжку на пистолет? В любом случае я не хотел рисковать.

Выждав еще несколько секунд, убедившись, что за Иктосом никто больше не следует, я окликнул бывшего грека.

Он несколько не испугался:

— У вас все тут в порядке?

Его наглость меня взорвала:

— Как ты сюда попал?

— Ну, ну, не кипятись, — сказал он, осматриваясь. — Я видел машины. Обычно сюда никто не приезжает. Что-нибудь случилось?

— Как ты сюда попал?

— Да ладно, — сказал он, отхлебывая из фляжки. В его кармане все-таки оказалась фляжка. — Мы соседи. Давай по-соседски, а?

Я повторил свой вопрос, и он понял, что спрашиваю я всерьез:

— Характер у тебя дерьмовый, вот что я тебе скажу. Понатыкали стекла на стене, я из-за вас хороший мешок испортил. Брезентовый плотный мешок. Ты же сам оставил лесенку у стены.

— Я оставляю ее с этой стороны стены, — сказал он. — А с той? Ты перелез через стену?

— Да ладно, ладно тебе! — Он, наконец, занервничал. — Ты же видишь, я ухожу. Уже ухожу.

Он действительно попятился к заросшей травой канаве.

— Я из-за вас испортил хороший мешок. Там, на стене, битое стекло, приходится что-то бросать поверх него. Ухожу, ухожу, чего ты разгорячился?

— Проваливай, — сказал я сквозь зубы.

— Зря ты так, — голос Иктоса прозвучал подозрительно громко. — Видишь, я ухожу. И нечего кричать.

Я вышел из-за дуба и остановился на краю канавы.

Иктос, действительно, знал дорогу.

Моя лесенка была прислонена к стене, с другой стороны он, наверное, подставил свою. Я молча следил, как грек, пыхтя, взбирается на стену. Наконец, он сел там наверху и даже свесил вниз ноги.

— Видишь, — сказал он чуть ли не с укором. — К тебе по-человечески, а ты кричишь.

— Повторишь еще раз этот фокус, пеняй на себя.

— *Это и есть новый садовник мистера Беллингера?*

Я не сделал ни одного движения.

Обычно в тех, кто в подобной ситуации проявляет прыть, стреляют сразу. Я не хотел, чтобы меня стреляли. Поэтому я даже не шелохнулся, только скосил глаза в сторону говорящего.

И увидел не одного, двоих.

Они здорово походили друг на друга — приземистые крепкие ребята. Оба носили короткие кожаные курточки с удобными просторными карманами. Случись что-нибудь неожиданное, стрелять можно не вынимая оружия. Конечно, курточки будут испорчены, но это второе дело.

— Теперь-то я могу хлебнуть? — спросил со стены Иктос.

Один из крепышей кивнул.

Иктос удобно сел и сделал первый большой глоток. Ему, кажется, происходящее нравилось.

— Зря ты все время грозишься, — сказал он мне. — Я таких, как ты, знаю. Грозятся, грозятся, а до дела все равно не доходит. Я, если что, — похвастался он, — бью сразу. Чего болтать лишнее, правда?

— Он тебе грозил? — спросил ближайший ко мне крепыш. — Почему он тебе грозил?

— У него привычка такая, — ухмыльнулся Иктос. — Они как сычи, что садовник, что хозяин. Сколько раз предлагал: хлебни из фляжки, за это ж не надо платить, а он ни в какую. Ну совсем не пьет! — удивился грек.

— *Не такая уж дурная привычка.*

Так же осторожно я скосил глаза в другую сторону. Человек, выступивший из-за дуба, несомненно, был главным среди собравшихся. На нем была такая же курточка, как на близнецах-крепышах, но рук он в карманы не прятал. Знал, его всегда подстрахуют. Его спокойствие обескураживало.

— Ты действительно садовник? — спросил он, поправив левой рукой коричневый плоский берет.

— А ты кто? — тупо спросил я.

— Не груби, — предупредил он. — Я ведь обращаюсь к тебе вежливо. Вот скажи, — указал он на ближайший куст, — что это за розы?

— Галлики, — сказал я. — Диковатые, но все еще галлики.

— Верно. А те, белые?

— Луны.

— Опять верно, — он с удовлетворением кивнул. — Ну, а вон те, там, у канавы?

— Чайные. Самые обычные чайные. Почти что шиповник.

— Почему ты так запустил сад?

— Просто я еще не успел навести порядок.

— Ну, ну, — сказал он. — По-моему, ты больше гуляешь, чем трудишься. Ты знал глухонемого?

— Нет.

— Жаль. — Особой жалости в его голосе я не уловил, но он не очень-то и старался. — Неглупый малый. Умел помогать. И своим друзьям, и самому себе, и даже своему бывшему хозяину...

Бывшему!

Они считали Беллингера мертвым?

А Бауэр? Он действительно работал на них, или они попросту проверяли меня?

Ну да, быстро прокрутил я в голове. Они видели машины и суету. Они могли видеть, как грузили труп, а вот появление мистера Ламби вполне могли пропустить. Значит, они явились убедиться, что Беллингер действительно мертв.

Ни Джек, ни я — мы не ожидали, что они явятся так быстро.

Зато время действовать наступило.

Иктос Иктосом, его я в расчет не брал. Он сидел на стене и болтал ногами. Близнецов-крепых я тоже особенно не опасался, вывести их из игры я сумею. Но вот человек в берете... Именно его и надо брать живым, решил я.

И тут же понял — этот вариант нереален. Именно человека в берете я был вынужден вывести из игры первым.

Что ж, тогда один из близнецов...

— Ты можешь проваливать, — сказал человек в берете Иктосу. — Ты и так задержался.

— А премия?

— Как договорились.

— Ладно, — Иктос неожиданно ловко скользнул за стену. Не знаю, ждали ли его там, но действовал он уверенно.

Я незаметно напряг мышцы. Действовать придется одному и во всю силу.

— Так вот, — доброжелательно сказал мне человек в берете. — Расклад такой. Лезь за греком и можешь проваливать, от тебя нам ничего не надо. Часа через полтора можешь вернуться, нас тут не будет. Ничего не пропадет, не волнуйся. А не захочешь возвращаться, уезжай совсем. Вечером есть поезд. Что тебе делать в этих местах? Сам знаешь, кругом одни леса да болота.

— А вы? — спросил я, и мой вопрос не понравился человеку в берете.

— Не бери на себя слишком много, — сказал он, оценивающе оглядев меня.

Его задумчивая улыбка подсказывала: задерживаться не стоит. И, понимая кивнув, стараясь, чтобы они все видели мою неловкость, я медлительно пополз вверх по лесенке.

Ситуация была настолько ясной, что даже близнецы-крепых расслаби-

лись; человек в берете тоже не проявлял никакой настороженности. Звон шмелей, сонный стеклянный воздух, душные запахи — прекрасный летний вечер. Никто из них не догадывался, что люди Джека Берримена уже подняли тревогу.

Смогу я продержаться десять минут? Уложится Джек в десять минут?

Я на грудь приподнялся над стеной, на которой действительно валялся брезентовый мешок Иктоса.

Самого бывшего грека я не увидел, но на дороге стоял открытый армейский джип. Мордастый водитель равнодушно сидел за рулем, еще один крепых, поразительно похожий на тех, что стояли на краю канавы, курил, наваясь на переднее крыло.

— Они пропустят меня? — спросил я человека в берете.

Он кивнул:

— Конечно.

Он стоял сейчас почти подо мной, и это меня весьма устраивало. Близнецы упустят две-три секунды, в принципе мне должно было хватить этого.

— Я должен что-то сказать там, на дороге?

— Будет лучше, если ты помолчишь, — усмехнулся один из крепых-близнецов, но человек в берете отогнул лацкан курточки и что-то негромко буркнул.

Я оценил связь: куривший у джипа сразу выпрямился и без особой приветливости, но помаhal мне рукой.

— Иди.

Я совсем собрался перенести ногу через гребень стены, но в этот момент со стороны невидимой веранды (ее прикрывали хозяйственные пристройки) донесся звон бьющегося стекла, а может, просто что-то упало.

Все трое переглянулись и уставились на меня:

— Там кто-то есть?

Похоже, до этого момента они и впрямь верили в то, что труп Беллингера увезла полиция.

— Где? — тупо переспросил я.

— Ладно, проваливай, — быстро сказал человек в берете и полез в карман.

Но я не позволил ему вытащить пистолет.

Оттолкнувшись от лестницы, всем своим весом я обрушился на человека в берете. Я знал, в этой игре он больше не участвует. И еще я знал, меня отбросит в канаву.

Так и получилось.

Человек в берете даже не охнул, его шея подо мной хрустнула, толчком меня отбросило в заросшую канаву. Краем глаза я видел, как летят в воздух клочки кожи — близнецы открыли стрельбу, как я и предполагал, не вытаскивая оружия из карманов.

Но они опоздали.

Два или три прыжка, я оказался перед хозяйственными пристройками и нырнул за них. И тотчас пуля с не-



приятным шлепком ударила в кирпичную стену над моей головой.

— Не стреляйте! Это я, мистер Беллингер!

Задыхаясь, я вбежал на веранду.

— Потрясен твоей прытью, Айрон Пайпс, — торжественно заявил Беллингер. — Ты был похож на сонную муху, а сейчас прыгаешь, как леопард. Ты, вроде, раньше прихрамывал?

Я не ответил.

Несколько минут в запасе у нас было — вряд ли нападающие сунутся сюда, пока не поймут, сколько нас и чем мы вооружены. Но, боюсь, речь шла действительно о двух или трех минутах. Машинально я коснулся пальцами правого уха — его жгло. На пальцах осталась кровь. Пуля, пущенная мне вслед, сорвала кожу с мочки, а вместе с нею звивленные датчики — люди Джека теперь не слышали меня, не могли слышать.

Ладно, решил я. Все равно Джек уже в курсе происходящего на вилле «Герб города Сол», нам с Беллингером надо продержаться совсем немного.

Старику я сказал:

— Когда в человека стреляют, его физические недостатки становятся менее заметными.

Я имел в виду мою исчезнувшую хромоту.

Беллингер усмехнулся:

— Кто эти люди там? Твои гости?

— Почему мои? — удивился я. — Думаю, они пришли к вам. Мне они, кстати, предлагали уйти.

Теперь удивился он:

— Ты отказался?

С «вальтером» в сухой, украшенной старческими веснушками руке он выглядел несколько необычно; в глазах мерцало любопытство.

— Да.

— Странно, — пробормотал он, но спрашивать, почему я отказался уйти, не стал. — Чего они хотят?

— Наверное, поговорить с вами.

— Разве для этого надо поднимать такой шум?

Он даже ухмыльнулся. Что-то там, похоже, сходилась в его размышлениях. Но что-то и не сходилась. По крайней мере, никаких решений он пока не принимал — одуванчик, настоящий одуванчик, полуобдутый ветром времени, но все еще крепкий.

Решение принял я.

— Вставайте, — сказал я, осматриваясь. — Наверху безопаснее. Здесь оставаться нельзя.

Я ожидал чего угодно, но старик не стал протестовать. Правда, он хотел, чтобы я втащил наверх и его любимое кресло, но и на этом не стал настаивать.

В кабинете все еще пахло взрывчаткой.

Сдвинув три книжных шкафа, я надежно закрыл пустой проем бывшей двери. Часть книг упала на пол. Беллингер не обратил на это никакого внимания. Вид кабинета вообще его не удивил, он ни разу не нагнулся, чтобы поднять какую-нибудь бумажку, хотя бы из любопытства. Он действительно знал, что его рукопись унесли?

Я указал ему в угол.

Туда, за письменный стол, я сдвинул кресла: через окна мы могли видеть самую опасную часть сада.

— Я хочу кофе, — сварливо заметил Беллингер.

Я изумленно оглянулся:

— Кофе? Сейчас? — И покачал головой: — Боюсь, вам придется подождать.

— Долго?

Я невольно рассмеялся:

— Говорят, у кошки девять жизней. Чтобы ее убить, надо применить все девять способов. Куда вы торопитесь?

Беллингер нахмурился:

— Как долго это протянется?

— Ну, полчаса, — сказал я. — Никак не больше.

Я не стал ему говорить, что больше — это означает конец. Это означает — люди Берримена не могут прийти на помощь. Впрочем, такого не должно было произойти.

— Я не хочу ждать долго.

— Увы, — заметил я рассудительно. — Надо. А главное, не вставайте с кресла. Если забраться на дуб, простреливать можно весь кабинет, но угол, пожалуй, остается безопасным.

Кофе!.. Старик не уставал меня изумлять. Иногда мне казалось, я ему мешаю, я вторгся в сценарий, в котором мне места не предполагалось, и в то же время Беллингер, несомненно, держался за меня.

— Может, они ушли? — спросил он, прождав три или четыре минуты.

Я промолчал.

Отвечать ему не было смысла. К тому же, в отличие от него, я не хотел, чтобы нападавшие ушли. Напротив, я ждал от них самых активных действий, ведь одного предстояло взять живым.



Прошло семь минут.

Напряженная тишина установилась в саду и в доме, даже цикады смолкли. Возможно, их напугали выстрелы.

— Ну? — сердито спросил Беллингер. — Почему бы нас не спуститься вниз? По-моему, никого там нет.

Я прислушался и покачал головой:

— Не стоит торопиться.

— Здесь скверно пахнет. Мне здесь не нравится. Я не хочу дышать таким воздухом.

— Лучше дышать таким, чем вообще не дышать.

Кажется, до него что-то дошло, но молчать он и не думал:

— Айрон Пайпс, почему у тебя такое дурацкое имя?

— Не знаю... Оно вам не нравится?

— Ты не похож на человека, способного носить такое имя. Ты слишком прыток для человека, который может носить такое имя. Ты непонятен, я бы сказал, ты темен, Айрон Пайпс.

— Не все ли равно, каков я? Все, что я делаю, я делаю ради вас.

— Возможно. — Он помолчал. Потом спросил: — Кто эти люди?

— Вам лучше знать. — Я действительно не мог ответить на его вопрос. — Но доверять им нельзя. Я бы не стал им доверять. Легко угодить в пресловутый ряд.

Я спохватился. Я как бы спохватился, но старик проглотил наживку:

— Ряд? Что за ряд, Айрон Пайпс? О чем ты?

— Ну как... Вы ведь из знаменитостей, правда? Говорят, вы входите в десятку самых знаменитых людей...

— Конечно, — саркастически хмыкнул старик, — я же сам помогал распространению этого слуха.

— Вот я и подумал... Мне приходилось читать в газетах...

— Что ты там вычитал? — нетерпеливо потребовал Беллингер. — Чего ты мямлишь, говори прямо!

— Я читал там про этих всех... Ну, про Хана, это физик такой. И про Курлена, и про Сола Бертъе, и еще была одна журналистка, ее тоже убили... Как знаменитость, так рядом стрельба. Вот и у вас такое.

— Интересный ряд... — Беллингер задумался. Не думаю, что указанный ряд в самом деле ему польстил, но он задумался. Я его заинтересовал по-настоящему. — Для простого садовника ты недурно начитан, Айрон Пайпс.

— Я не совсем обычный садовник.

— Теперь я это вижу.

Он помолчал и уже другим голосом добавил, впадая в привычные воспоминания:

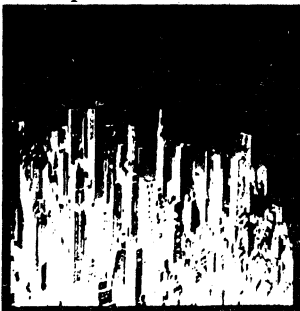
— Сола Бертъе я хорошо знал. Даже слишком хорошо. Иногда пишут о нашей дружбе. Это преувеличение. Дружить с ним не смог бы и паук. Сол много пил. Настоящая скотина, говоря между нами. Его мировоззрение густо окроплено алкоголем. Не удивился бы, узнав, что с борта яхты его сбросил очередной сожитель.

— Сожитель?

— Можно найти и другие определения. Тебе не все равно? — покосился на меня Беллингер. — У Сола Бертъе было много слабостей.

— Действительно. Для одного человека что-то уж много...

— Правда, у него и талантов было не меньше... Порядочная скотина! — Он будто мысленно сравнил с кем-то Бертъе. — То, что о нем пишут — выдумки. Я-то его знал. И Памелу я знал. Зря она ввязалась в то дело... Незачем ей было ввязываться, было сразу видно, ничего хорошего там не най-



дешь... Зря, зря, — повторил он. — Но Памела нутром чуяла необычное.

— Вы разве не из той же породы?

Он усмехнулся и поднял на меня усталые, но все еще живые глаза:

— Поэтому ты и включил меня в названный ряд?

Не отрываясь от окон, я кивнул:

— Надеюсь, мои слова вас не обидели?

— Нисколько, Айрон Пайпс. Как ни крути, люди, упомянутые тобой, если уж не достойные, то, в любом случае, интересные.

— Знаете, чем они кончили? — спросил я, не оборачиваясь к старику.

Он ответил:

— Да.

— Тогда не вставайте с кресла. Не буду повторять; одно неловкое движение — и вас пристрелят.

Беллингер промолчал.

Внимательно вглядываясь в темную листву дубов, окружающих дом, я спросил:

— Чем вы так насолили нашим неожиданным гостям?

— Представления не имею.

Я даже оглянулся.

Старик сидел в своей обычной позе: обхватив руками острое колено. В его взгляде читались удовлетворение и самодовольство. Но спросить что-либо еще я не успел: где-то у ворот ударила автоматная очередь.

— Это у ворот... — прислушался я. — А это под южной стеной... А это — сорвали ворота... — Я хмыкнул: — Вам придется здорово потратиться на ремонт. Не думаю, что кто-то возьмет на себя расходы.

И крикнул:

— Сидеть!

Пуля раскрошила стену прямо над головой приподнявшегося Беллингера. Пыль облачком, как нимб, повисла над седыми волосами.

Я не потерял ни секунды.

Это был мой первый выстрел.

Я стрелял на звук, на неясное движение в листве, но почти сразу мы услышали вскрик, а затем треск и глухой удар. Кто-то свалился с дуба на землю.

— Ублюдки, — проворчал Беллингер.

— Кого вы имеете в виду?

— Всех. И тебя тоже, Айрон Пайпс. Все ублюдки!

Снизу крикнули:

— Эл!

Я прислушался.

Беллингер мог быть доволен: он узнал мое настоящее имя. Снизу, из сада, орал разъяренный Берримен:

P.S.

— Эл, прекрати стрельбу!
 — Нам уже можно спуститься? — крикнул я, не вставая с места.
 — Спускайся. И отдай старика Лотимеру. Беллингер с усмешкой взглянул на меня:
 — Этот Лотимер... Он тоже садовник?
 — Нет. Полицейские вернулись, — буркнул я.
 Без всяких возражений Беллингер выложил на стол «вальтер» и сошел на веранду. Я прикрывал его, положив руку на «магнус», но нужды в этом не было. Тощий Лотимер, привычно откозыряв (он пришел в Консультацию прямо из армии), увел старика в машину.
 — Поезжай! — крикнул Лотимеру Джек и раздраженно обернулся: — Эл, в саду одни трупы.
 — Половина из них — твои, — хмыкнул я. — Под дубом тоже кто-то валяется.
 — И тоже покойник?
 — Не знаю.
 Короткими перебежками, прикрывая друг друга, мы вошли в рошу.
 Бояться было некого. Джек не зря в свое время учил меня стрелять по невидимой цели — в близнеце-крепыше, валявшемся под дубом, жизни было ни на гран. Все же я попросил:
 — Влей ему в пасть, Джек.
 Берримен, вытащивший из кармана фляжку, возмутился:
 — Это греческий коньяк, Эл!
 — Подумаешь.
 Джек выругался и стволом пистолета разжал зубы уснувшего крепыша. Мы даже не стали его обыскивать. Идя на задание, такие, как он, документов с собой не берут, а над одеждой обычно колдуют специалисты.
 — Он открыл глаза!
 Мы наклонились над близнецом. Он действительно приоткрыл глаза, но они были залиты смертной пеленой, смутным туманом, который ничем не разгонишь.
 — Он что-то шепчет.
 Я приблизил облепленное пластырем ухо к самым губам близнеца.
 — Беллингер...
 — Я не Беллингер, — сказал я с отвращением.
 — Кто тебя послал? Имя?
 — Беллингер...
 Я выругался.
 — Оставь его, Эл. Лучше сам глотни. Что ты тут курил, от тебя несет, как... — Джек даже не стал искать определение. — Нелегко будет оправдаться перед шефом, Эл. Тут одни трупы.
 — Надо было торопиться. Еще полчаса, и нас бы тут попросту подпалили. — Я взглянул на Берримена и рассмеялся: — Но нас не подпалили.
 И пожал ему руку.

Я был рад, не увидев в кабинете шефа. Доктор Хэссон тоже бывает холоден, как глыба льда, но он никогда не теряет контакта с тобой. Думаю, это в нем от любопытства. Доктор Хэссон всегда был жаден до необычного. На мой взгляд, это лучше, чем думать только о деле. Шеф может и улыбаться, но его улыбке верить нельзя. Есть такие игрушки: сверху перья или какой-нибудь нежный мех, а сожмешь ее — в руке холодная тяжелая глина. Обожженная, понятно. Не знаю, как к таким игрушкам относятся дети, но мне они не по душе.

Наклонив голову, доктор Хэссон, как старый гриф, без всякого удовольствия изучал нас с Джеком.

— А шеф? — спросил я.

— Шеф смотрит отчеты.

Годовые кольца морщин на худой шее доктора Хэссона пришли в движение:

— У нас нет рукописи, Эл, и у нас нет никого, кто бы мог растолковать приключившееся на вилле Беллингера.

— А сам Беллингер?

— Он знает лишь то, что знает. Это немного. — Доктор Хэссон раздосадованно моргнул. — Он утверждает, что даже роман свой не помнит. Да якобы и не хочет помнить. Черт подери, мы опять потеряли нить.

— Опять? — удивился Берримен. — Что значит опять? Мы уже с чем-то подобным сталкивались?

— Конечно. Вспомните Шеббса, — доктор Хэссон покачал головой. — Вы ведь и Шеббсу позволили умереть. Два года тому назад, на станции Спрингс-6.

— А-а-а... — протянул Джек. — Алхимики... Только Шеббс взорвался не на станции. Это случилось прямо на перегоне. Поезд, кстати, стоял.

— «Алхимики!» — Доктор Хэссон недовольно нахмурился. — Ты так произносишь это слово, Джек, будто мы впрямь гоняемся за средневековыми чудаками. Разве я не объяснял вам, что, в сущности, любой человек, активно ищущий смысла в своем существовании, может считать себя алхимиком?

Мы дружно кивнули, но Джек не удержался:

— Не слишком ли просто?

— Не сердь меня, Джек. Усложняют только придурки. Я недоволен вами. Нам нужен был живой человек, человек, которому можно задавать вопросы. Но такого человека нет, и рукописи тоже нет, а Беллингер не из тех, кто охотно делится секретами.

— Те, в кого мы стреляли, тоже не походили на людей, охотно делящихся секретами.

Доктор Хэссон взглянул на меня:

— Ладно. Не будем об этом. Вернемся к тому, что знаем. Как тебе кажется, Эл, что интересно нападавших?

— Они хотели убедиться, что Беллингер мертв. Рукопись они уже получили.

— Значит, ключ в рукописи?

— Думаю, да, — неохотно признался я. — Мне не удалось переснять ее всю. Но я говорил, я заглядывал в конец рукописи. Не могу понять, что заставило датчанина вернуться. Этот Мат Шерфиг, он сделал все, чтобы привести немца в Ангмагсалик, но на полпути повернул. Значит, он услышал от немца что-то такое, что повлияло на его решение.

— А может, немец обезоружил его?

— Нет. Готов утверждать, нет. Он вернулся по своей воле. — Я усмехнулся. — Может, ему напечатали что-то злые духи, тот же Торнарсуку, к примеру?

Берримен скептически улыбнулся.

— Торнарсуку... — Доктор Хэссон задумался. — Мы еще поговорим о злых духах, а пока расскажи мне о старике. Он ждал чего-то подобного?

Я пожал плечами:

— Может быть... Иногда я почти уверен, что он ждал чего-то, причем ждал не один год, но потом начинаю сомневаться — ведь ему грозила опасность... К тому же, он собирался отдать рукопись своему литературному агенту... При этом он знал: рукопись вызовет большой шум. Он даже готовился сменить пристанище. Этот мистер Ламби нашел ему что-то такое — в горах и при озере. Значит, Беллингер ждал осложнений... Как ни крути, ключ, похоже, в рукописи. Может быть, как раз в этом решении Мата Шерфига вернуться...

Я взглянул на доктора Хэссона:

— Не хочу усложнять, но, кажется, Беллингер впрямь укладывается в вычисленную вами цепочку — Сол Бертье, Памела Фитц, Голо Хан, Мат Курлен, кто там еще?

— Беллингер жив, — возразил Берримен.

— Да. Благодаря нам. Я готов утверждать, его уединение не во всем было добровольным. Он чего-то ждал, чего-то опасался. Он никого не принимал, никогда не подходил к телефону...

— Можешь не продолжать, Эл, — сухо прервал меня доктор Хэссон. — Иногда до тебя что-то доходит, но задним числом, на лестнице. — Он, наверное, даже не подумал о том, что для меня его слова прозвучали чуть ли не буквально. — Вся эта история еще раз подтверждает: где-то рядом с нами существуют люди, проявляющие повышенный интерес ко всему, что выходит за рамки, скажем так, сегодняшнего дня. И эти люди очень многое знают. Очень многое, Эл. А я, в свою очередь, хочу знать, что именно они знают! Похоже, эти неизвестные ведут некий сознательный отбор то-

го, на что мы, в силу своей ограниченности, не обращаем должного внимания. Мы могли иметь рукопись Беллингера, однако взялись за это недостаточно ловко. Я не виню тебя, Эл, ты все делал правильно, но иногда следует прыгать выше головы. Там что-то есть, в этой рукописи, есть! Он ведь не из оптимистов, наш Беллингер. Не поленись, перелистай на досуге его «Поздний выбор». Старик всегда сомневался, верной ли дорогой идет человечество, или, уточним, наша цивилизация. Может, в новом романе он нашел какой-то особый ответ, убеждающий или даже устрашающий? В «Позднем выборе» он утверждал: мы спустили с тормозов весь ряд конфликтов, мы практически обречены, мы теряем приспособляемость. Отсюда и его вполне простительное желание: оставить рукопись другому человечеству или хотя бы некоему тайному союзу, о котором он, как и я, мог догадаться. Кто поручится, что такого союза не существует? Кто поручится, что не существует тайного архива, в котором до поры до времени консервируются работы, признанные несвоевременными кем-то, поднявшимся над нами? Работа самого Беллингера, этот его странный роман, тоже могла показаться кому-то несвоевременной. Я действительно начинаю думать, что этот тайный союз играет в нашей жизни гораздо большую роль, чем может казаться. Черт побери, возможно, не существуешь ты, наша цивилизация давно рухнула бы, а?

Доктор Хэссон замолчал, и я вдруг явственно ощутил холодок, пронизывающий до костей, увидел взметнувшуюся над ними снежную пыль. Она скрыла за собой очертания кабинета, гравюры на стенах, книжные шкафы, густо припрошила скалы, бегущих собак, она текла и текла куда-то вверх, в бесконечность — смертельными извилинами реками, извилинами ручьями, нежная смутная пелена, пропитанная ядом и проклятиями Торнарсука.

«И все вокруг сразу приобрело бледно-серый линялый оттенок...»

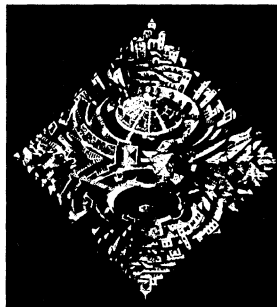
Кажется, так.

Я покачал головой.

Нет, доктор Хэссон не безумец, он действительно нащупал какую-то тропу. Он видит дальше, чем я или Джек, он видит дальше, чем шеф, иначе тот же шеф давно отказался бы от его услуг.

— Думаю, ты прав, Эл, старик ждал визита.

Он ждал неких гостей, которые освободили бы его от его собственных и, видимо, не слишком веселых прозрений. Я сужу по самому отношению Беллингера к миру. Я более или менее наслышан об этом, даже от самого старика. Мораль — изобретение чисто человеческое, она условна. Создавая машину, мы только думаем, что создаем машину, на самом деле мы выступаем против са-



мого существа, против природы, создавшей нас. В конце концов, должна существовать некая идея, объясняющая все. Может быть, кое-кто подходил к ней слишком близко, может быть, пока это опасно для человечества. А если так, то исчезновение Курлена или Сауда Сауда, исчезновение Бертье или Беллингера — только на руку человечеству? Разве нет? Вот тут-то в дело и включается некий тайный союз, который мы условно назвали алхимиками. И я хочу знать, черт побери, кто они, эти люди? А если они не люди, я тем более хочу это знать!

Белая пелена снова скрыла от меня очертания кабинета.

Ледяной посылит ветра, угрюмый снег, промерзшее до дна береговое озеро.

Я хорошо помнил: Беллингер так и писал — береговое озеро промерзло до дна. На отшлифованный ветром лед медлительно падали вычурные снежинки. Сцепляясь кристаллическими лучами, они образовывали странные фигуры — тайнопись Торнарсука. Мог ли ее прочесть некий датчанин, только что накормивший ядовитой медвежьей печенью плененного им немца? Мог ли ее прочесть лейтенант Риттер, считавший, что в Дании все миссис — Хансены?

Я не знал, как увязать узанное мною с идеей, объясняющей все, я ведь не дочитал рукопись Беллингера.

— Вы становитесь слишком профессионалами, — раздраженно моргнул доктор Хэссон. — Профессионализм тоже не безопасен, часто он сужает кругозор. Нельзя ограничивать себя поставленной задачей, это, в конце концов, приводит к провалу. Мне будет искренне жаль, Эл, мне будет искренне жаль, Джек, если однажды вас просто пристрелят. Мы столкнулись с чем-то, превосходящим наши силы, но у нас есть воображение. Если алхимики действительно существуют, мы обязаны выйти на них; если они действительно что-то знают такое, что нам неизвестно, мы должны понять, узнать это. В конце концов, вся наша жизнь пока — спор с Дьяволом. Да, да, всем нам хочется спокойной беседы с Богом, но пока вся наша жизнь — это спор с Дьяволом. Я убежден: тайный союз существует. Чем бы вы отныне ни занимались, вы должны держать это в сознании.

— Но его цель? — спросил я.

— Она проста, Эл, — неожиданно улыбнулся доктор Хэссон. — Охранять нас.

— Охранять? Но от кого?

— Да от нас же самих, ни от кого больше. От нашего вечного стремления следовать, прежде всего, дурным идеям.

Он помолчал.

— Я не первый, кто задумывался об этом. Когда-то я цитировал вам Ньютона. Если забыли, напомню. «Существуют другие великие тайны, помимо преобразования металлов, о которых не хвастают великие посвященные. Если правда то, о чем пишет Гермес, их нельзя

постиж без того, чтобы мир не оказался в огромной опасности». Разве то, что мы раскопали, не подтверждает тревоги Ньютона? Может, все тайники Вселенной открываются одним-единственным ключом, одной-единственной великой идеей? Может, кто-то из нас уже приблизился к ее разгадке? Но пришло ли время?..

Он покачал сухой головой.

— У меня предчувствие, Эл, — он перевел взгляд на Берримена, — у меня предчувствие, Джек: мы еще столкнемся с алхимиками. Держите это в своих мозгах. Я не знаю, как это случится и случится ли вообще, но помнить об этом надо. И дай Бог, — снова качнул он головой, — чтобы те, кого мы сейчас называем алхимиками, оказались людьми.

— Но я не понимаю... — Я действительно не понимал. — Если некий тайный союз оберегает нас от больших неприятностей, то какого черта мы становимся на его пути? Почему нам не оставить их в покое?

Доктор Хэссон усмехнулся.

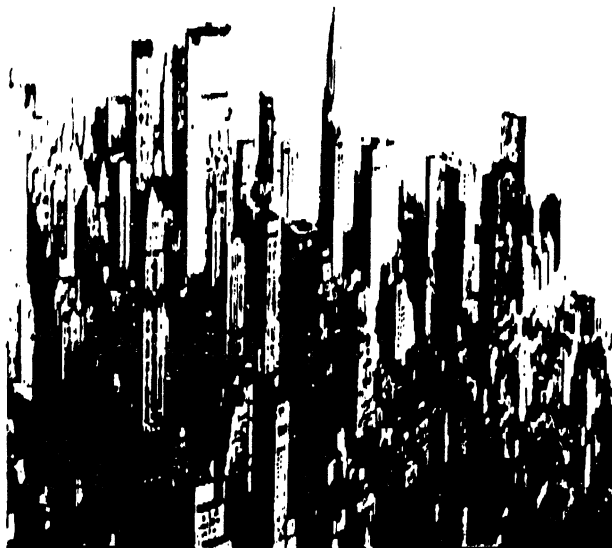
Не торопясь, он дотянулся до ящика с сигаретами, выбрал одну, размял, обрезал ее. Так же медлительно поднял со стола зажигалку, раскурив сигару, выпустил клуб дыма. Настоящая сигара, не то дерьмо, которое я курил на вилле «Герб города Сол». Глаза доктора Хэссона смеялись:

— А любопытство? Вечное любопытство, Эл?

— Любопытство?

Мы с Джеком переглянулись.

Мы не сговаривались, нам некогда было сговариваться. Просто мы подумали об одном и том же. Быстро и суеверно сплюнув через левое плечо, мы подмигнули друг другу и снова обернулись к доктору Хэссону.



ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ПАМЯТЬ

В январском номере «Следопыта» любители фантастики привыкли находить вопросы очередной викторины... Но фантастическая наша реальность, к сожалению, все более убеждает нас в том, что — заботами отечественных почтовиков (но не только их, впрочем!) — количество отвечающих, а точнее — присылающих свои ответы на нашу викторину просто обречено в самом скором времени практически сойти на нет. И вот, после тяжких раздумий, мы решили — таки не дожидаться грустного финала, а, как нынче водится, объявить о ее (викторины) самороспуске.

Претензии по поводу неполученных призов — принимаем и постараемся постепенно удовлетворить.

Очень хотелось бы по-прежнему рассчитывать на энтузиазм всех, кто до сих пор снабжал нас фактами для традиционной декабрьской «Хроники событий, запланированных фантастами».

Нам все-таки очень жаль (как, надеюсь, и многим нашим читателям) расставаться вот так сразу с любимым детищем... Что ж, попробуем сохранить его, но уже без соревновательного принципа (поэтому ПРИСЫЛАТЬ СВОИ ОТВЕТЫ В РЕДАКЦИЮ НЕ НУЖНО!), — в виде постоянного раздела под привычным когда-то названием.

Вести этот раздел будет О. Князева, знакомая уже нашим читателям по викторинам.

В этом номере мы помещаем криптограмму, которую составил А. Могелайнен (п. Муезерское, Карелия).

... Посетив дюжину планет и о каждой из них рассказав в отдельном отчете, космический путешественник по неосторожности... перепутал свои записи!

Сумеете ли вы помочь ему разобраться — где кончается одна запись и начинается другая, а также — из какого «отчета» (рассказа, повести, романа) «выпала» каждая из них?

«Мы строили первый лагерь на этой планете, и я выкопал такой странный красный камень, весь в шишечках. Ну, я и ткнул в него пальцем — посмотреть, не очень ли он твердый, — и кончика пальца как не бывало! Фьють — и нет его. А потом весь палец загноился, и врачи его оттяпали напрочь...»

Третья планета звезды типа Д.С.6143. Масса, диаметр... планета немного крупнее Земли, с густой атмо-

сферой, чуть более богатой кислородом. Впервые обнаружена экспедицией Ван Паепе в 2161 году... С другой стороны, легкие элементы распространены тоже более равномерно. В составе океанов здесь не преобладает хлористый натрий, как на Земле, а довольно много магниевых солей. А литий, бериллий и бор? Они легче углерода, но на Земле и на всех других планетах встречаются очень редко. А на (этой планете) их много. Все эти три элемента составляют около 0,4 % коры, а на Земле — только 0,004%...

...Ровная, как стол, черная поверхность, по которой стремительно неслись туманные струи мельчайшей черной пыли. Далеко у горизонта, затянутого красноватой дымкой, медленно передвигались тонкие, грациозно изгибающиеся тени, словно исполинские змеи, вставшие на хвосты. И над всем этим — оранжево-красный купол неба... Казалось, планета навсегда застряла где-то между рассветом и вечерней зарей.

Розоватый, робкий свет струился здесь изо всех уголков небосвода, а постояв несколько минут неподвижно, можно было ощутить, что странная чужая ночь не лишена своеобразного очарования...

— Почему небосвод излучает этот свет? На нем же нет ни звезд, ни спутников? — спросил Фролов.

— Была здесь довольно плотная атмосфера из инертных газов. Красивейшие переливчатые закаты и восходы Ближайшей были — красно-зеленые, радужные... Когда мы прилетели сюда во второй раз, я подумал, что мы ошиблись планетой! Эти ветры сносили вершины гор, вырывали гигантские секвойи, разрушали здания, забрасывали птиц, летучих мышей и насекомых в мертвую зону. Они пронизывали небо черными полосами, начиненными мусором...

Нужно услышать эту музыку и понять, а один раз услышать, невозможно забыть. В долине были тысячи кустов, усыпанных стручками, она звучала, как огромный резонатор. Звук поднимался вверх волной, множество нот, все, какие только возможны, вместе и по одной, сливались, переплетались в бесконечном разнообразии мелодий. В этой музыке были все звуки, все, какие только могли быть...

Небо там было серебряной чашей, опрокинутой над бескрайней равниной. Ее сплошь покрывали высокие травы: бледно-зеленые, розовато-сиреневые, лиловые, серебристые. И все это переливалось, меняло цвет, волнуясь под ударами ветра. Никогда не забыть тепло ласкового солнца, затянутого легкой радужной дымкой. И горделивую игру мышц на крупе животного, на котором он несся все вперед и вле-

ред по сочной траве. Он будто снова был в числе других юных Всадников, которые широким полукругом обходили сейчас стадо тупанов, отрезая пасущихся животных от реки и зыбучих песков... Солнце уже почти закатилось за горизонт. Там, где небо смыкалось с океаном, громоздилась полоса черных туч. Над ними небо было розовым, выше — бледно-серым, еще выше — сине-серым. В джунглях немислимым голосом кричала птица-носорог.

С ума можно было сойти от этой красоты!

По песчаному берегу, держа в руках большой банановый лист, шел папуас... Это был не банановый лист, а раздавленная акула...

Мы опустились в сумерках на берегу большого озера, на краю бесконечной равнины, поросшей ровной пожелтевшей травой. Шел мелкий дождь, бесконечный и скучный. Мы долго стояли перед иллюминаторами — ни зверя, ни птицы. Может, и в самом деле здесь и нет ничего?... Наступило очередное утро. Почти в двое меньшее, чем на Земле, солнце медленно поднялось на темно-синем, с фиолетовым оттенком небе, на котором все же остались сиять самые крупные звезды.

По озерам, в довольно большом количестве разбросанным кругом, прошло легкое движение. Это таял лед, покрывший за ночь их поверхность. Он быстро растаял. Вода снова стала неподвижной. Растения раскрыли свои листья, повернув их к солнцу.

Причудливый вид этих растений поражал земной глаз сочетанием голубовато-серого и синего цвета... Толстые стебли росли прямо, как молодые ели. От них, редкие внизу и густые поверху, отделялись доходящие до метра в длину продолговатой формы листья с зубчатыми острыми краями...

Солнце поднялось выше, и его лучи ослепительными бликами заиграли на белоснежном корпусе звездолета, заставшего на самом берегу озера...»

■ ОПРЕДЕЛИВ НАЗВАНИЯ ПЛАНЕТ, НА КОТОРЫХ ПРОИСХОДИТ ДЕЙСТВИЕ В 12 ПРОЦИТИРОВАННЫХ ЗДЕСЬ «ОТЧЕТАХ», ВЫ ЛЕГКО ПРОЧТЕТЕ СЛЕДУЮЩУЮ КРИПТОГРАММУ:

64, 82; 94, 115; 71, 102, 15, 42, 53, 122, 105; 116, 35, 73, 27.

■ ЗДЕСЬ НАЗВАНА ЕЩЕ ОДНА ПЛАНЕТА. А ОНА — ИЗ КАКОГО «ОТЧЕТА»?

(Ответы смотри в следующем номере)

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ

НЕБЕСНЫЕ ЯХТЫ В ЗУРБАГАНЕ

Сколько живет человечество, столько оно мечтает о полетах. Писатель А. Грин высказал такую гипотезу: когда-то, в незапамятные времена, люди обладали способностью летать, левитировать, но постепенно она утратилась, затерялась в глубине веков, оставив лишь смутную память — наши «реликтовые» сны. Человек упорно, настойчиво пытался воплотить свою тысячелетнюю мечту: воздушные шары, затем неуклюжие, коробчатые планеры, позднее самолеты и, наконец, космические корабли. Однако все это было не том. Люди хотели летать в небе свободно, парить, как птицы. Рыцарь мечты Александр Грин уверял: «Человек будет летать сам, без машины». И вот это время пришло: в последней четверти XX века люди уподобились Икару.

Кому из нас неизвестен хрестоматийный пример: Ньютон наблюдал за падением яблока, и на свет появился один из основных законов земной природы. А вот историю с «антияблоком», которая тоже привела к важному открытию, знают немногие. Было это в начале нашего века, в Крыму.

Как-то Константин Арцеулов, впоследствии прославленный летчик-испытатель, вместе с поэтом и художником Максимилианом Волошиным шли в Федосию из Коктебеля (в переводе с крымско-татарского — «край голубых вершин», «синегорье»). Путь их лежал через так называемую «столовую» гору — верх плоский, как у стола — Узун-Сырт. Ветер сорвал с головы Волошина шляпу и бросил ее в ущелье. Но она не упала, а начала плавно подниматься все выше и выше.

Так была открыта уникальная аэродинамическая особенность Узун-Сырты («длинного хребта»). Здесь создаются мощные восходящие потоки теплого воздуха, — «термики», которые позволяют людям-икарам парить долго и высоко при любом направлении ветра. Тогда-то и зародилась у Константина Константиновича Арцеулова (внука знаменитого художника-мариниста Айвазовского) мысль организовать на плоскогорье Узун-Сырты планеродром.

Свое намерение ему удалось осуществить лишь в начале 20-х годов, когда еще громыхала гражданская война. К затее К. Арцеулова одним из пер-

вых подключился С. Ильюшин, а также другие члены образовавшегося в Москве кружка «Парящий полет». Потом пришли О. Антонов, А. Яковлев. И вот 1 ноября 1923 года на крымском «синегорье» состоялись первые состязания парителей, в которых участвовало десять планеров. С тех пор на долгие годы Коктебель стал своеобразной Меккой советского планеризма.

Молодые отцы будущих многодетных семейств ИЛов, ЯКов, АНов, в то далекое время нарекали своих безмоторных летательных отпрысков гордыми и звучными персональными именами, в основном птичьими. Были здесь «Буревестник» и «Гриф», «Коршун» и «Стриж», «Икар» (конструкции Арцеулова) и «Рот-фронт», «Комсомолец», «Голубь» (Антонова). Были и экзотические имена: «Пегас», «Жар-птица», «Гамаюн», «Парабола», а то и просто смешные — «Макака».

В Коктебеле делал свои первые ша-

паритель Артем Молчанов накрутил в «краю голубых вершин» 330 таких петель Нестерова. В 1936-40 годах из 18 мировых рекордов, зарегистрированных ФАИ (Международной авиационной федерацией), 13 принадлежали советским планеристам.

Об этих славных делах рассказывает экспозиция единственного в нашей стране музея планеризма и парашютизма, находящегося в Коктебеле. За двадцать лет с момента его открытия здесь побывало свыше полумиллиона человек, которые познакомились с 20-ю тысячами уникальных экспонатов.

Разве можно остаться равнодушным, когда видишь настоящую реликвию — парашют РК-2. Его изобретатель Г. Котельников еще осенью 1911 года предложил оригинальный «спасательный ранец для авиаторов с автоматически выбрасываемым парашютом», на который автор получил французский патент. И в середине 1912 года появил-



ги к высотам звездного неба родоначальник отечественного космостроения С. П. Королев. Он, молодой тогда инженер, создал планер СК-3, названный им «Красная звезда» (кто знает, может быть, Сергей Павлович уже в то время думал о Марсе, о полете к нему). На планере Королева 28 октября 1930 года летчик В. Степанчонок впервые в мире выполнил три «мертвые петли». А потом девятнадцатилетний

ся РК-1: русский, Котельникова, модель первая. Продолжая совершенствовать конструкцию своего парашюта, Глеб Евгеньевич разделил его подвесные стропы на две группы, что позволило управлять куполом. Так родился РК-2, который начал выпускаться для авиаподразделений с 1924 года.

А рядом с ним, с «дедушкой» современных парашютов, сотни документов и фотографий — свидетельства выдаю-

щихся достижений наших парашютистов. На снимках запечатлены их прыжки с различных высот, в том числе из стратосферы. Причем даже по статичным фото явственно ощущаешь, что человек не падает комком, а парит в небе птицей, плавающий в набегающем потоке воздуха, управляет своим полетом.

Экспозиции обоих разделов — планерного и парашютного — постоянно пополняются. Так, недавно в музее появился высотный компенсирующий костюм, принадлежавший известному мастеру безмоторных полетов, заслуженному летчику-испытателю СССР, Герою Советского Союза С. Анохину. Он когда-то был инструктором по планерному спорту у Сабихи, дочери первого президента Турции Кемала Ататюрка, а потом вместе со своей женой М. Рацинской готовил для этой страны кадры планеристов. Особенно же прославился тем, что, испытывая на флаттер новый планер, довел его в воздухе до полного разрушения и спасся на парашюте...

Представление о музеях обычно связано у нас с историей, с реликвиями материальной и духовной культуры. Но назвать экспонаты, находящиеся в трех небольших залах еще одного, самого юного в нашей стране авиационного музея, реликвиями — не поворачивается язык. Потому что собранные здесь предметы и документы рассказывают о наимоднейшем крылатом хобби молодежи.

По элементарной, земной логике так и следовало написать: «крылатое хобби молодежи». Но есть и другая логика — увлеченных, мечтателей, энтузиастов, логика мечты. Она-то и заставляет меня заменить слово «молодежи» на «человечества». Тем более, что недавно в прессе промелькнула короткая информация «Летающая прабабушка». Суть ее такова.

Западногерманская пенсионерка А. Нотбек занимается дельтапланеризмом пять лет. В возрасте около девяноста лет она проводит в небе по 2-3 часа в неделю. У дельтапланеристки А. Нотбек, которая обладает прекрасным зрением, молодым сердцем и уравновешенной нервной системой, — четверо детей, столько же внуков и двое правнуков.

Итак, речь о музее дельтапланеризма. Ему стало тесно в стенах своего старшего, планерского собрата, и он «отпочковался» от музея планеризма и парашютизма и 12 мая 1990 года открылся в Феодосии, которая в рассказах Александра Грина названа — Зурбаган. Кстати, юный очаг крылатой культуры находится буквально по соседству с литературным музеем А. С. Грина, всего в двух кварталах от него.

Новорожденная авиаэкспозиция на-

считывает пока лишь около двух тысяч вещественных и письменных свидетельств о первых шагах «треугольного спорта». У нас в стране ФАИ утвердила дельтапланеризм только в 1976 году.

Несмотря на свою молодость, дельтапланеризм имеет достаточно богатую историю. Начинаясь она с запуска



в небо треугольных змеев малайского типа. В прошлом веке эта характерная, дельтавидная конфигурация паруса — так называется несущая плоскость, крыло дельтаплана — прилетела в Европу, где была известна как «змеи Эдди» и «змеи Рогалло», или «крыло Рогалло». Когда же во всем мире начался «треугольный бум», то долгое время не могли выбрать название для новой летательной конструкции: ее называли и дельталетом, и параглайдером, и лишь позднее окончательно победил термин — дельтаплан.

Центральный раздел феодосийского авиационного музея отражает основные этапы развития этих воздушных яхт в нашей стране, участие сильнейших пилотов в чемпионатах СССР, европейских и мировых первенствах по дельтапланерному спорту. Самый большой экспонат здесь — парашют под потолком зала «Славутич» С-15 с темно-голубым парусом — под цвет неба: Этот летательный аппарат — авторский дар музею от молодых конструкторов прославленного ОКБ имени О. К. Антонова.

Многочисленные посетители с интересом рассматривают макет первого отечественного дельтаплана, изобретателем которого был О. Рогозин, различной формы рулевые трапеции-подвески, личные вещи чемпиона СССР Евгения Гриненко и красочные коконы, призванные уменьшить сопротивление тела «дельтапилотов» при полете, моторные тележки, минидвигатели и другие экспонаты музея дельтапланеризма — единственного в Европе, а может быть, и в мире.

Особым вниманием пользуется сегодня, в период перехода к новым экономическим отношениям, к рынку, тре-

тий раздел музея. Он рассказывает о создании мотоделтапланов, о применении их в земледелии и других отраслях народного хозяйства. Невольно возникает мысль, что эти легкие и компактные, простые в управлении и экономичные, а главное — дешевые аппараты словно специально предназначены для наших начинающих фермеров, для их небольших земельных участков.

С помощью моторизованного дельтаплана крепкий хозяин сможет внести в почву минеральные удобрения, эффективно бороться с сорняками и вредителями культур, не утруждая себя лишней раз свою пашню наземной сельхозтехникой. Или быстро, в зависимости от покупательского спроса, подбросить свежую зелень, ранние овощи прямо к рыночному прилавку. Ну, а в свободную от крестьянской работы минуту по-любительски заняться дельтапланерным досугом — ведь и фермер должен отдыхать...

Помните, у А. Грина есть рассказ «Корабли в Лиссе». Мне кажется, доживи Александр Степанович до наших дней, когда сбилось его давнее пророчество о летающем человеке, он непременно написал бы новый рассказ — «Небесные яхты в Зурбагане».

...Сегодня Узун-Сырт, горный сосед морской гавани Феодосии-Зурбагана, переживает свое второе рождение. Оно связано с появлением на свет еще одного авиамладенца — параплана. Этот новый термин образован из первых половинок двух привычных слов: парашют и планер. Их гибрид, сочетающий в себе достоинства обоих, открывает новые возможности для нынешних икаргов.

Всего четыре-пять лет в разных краях страны летают парапланеристы. И вот 22-23 сентября 1990 года, через шестьдесят лет после того, как днем рождения советского парашютного спорта было названо 26 июля 1930 года, на вершине Узун-Сырты собрались на свой первый слет парапланеристы и конструкторы этих новых крыльев человека. В программе были показательные выступления на парапланах, дельтапланах и дельталетах (тех, что с моторами). Кроме того, опытные участники слета, мастера, бесплатно, тут же, на месте, обучали всех желающих полетам на параплане.

На снимках: экскурсовод Инна Сложинская ведет рассказ по теме «От Икара — к дельтаплану»; параплан над Узун-Сыртом в полете по заданному маршруту.

Фото М. ГОРШКОВА

ЗАГАДКА ТРИДЦАТОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Людей всегда волновал вопрос об истоках культуры. За последнее столетие, отмеченное поисками синтеза высших достижений цивилизации, выдвинуто немало гипотез о существовании в далеком прошлом единой религии, единого языка, единого центра культуры. Возможно, это и так. Но где находился загадочный центр?

Древние цивилизации имели много общих черт. Некоторые племена индейцев Южной Америки в качестве посланий до сих пор используют привязанные к деревянной палочке веревочные узелки, которые, если их нарисовать на бумаге, напоминают санскрит, где буквы будто подвязаны к верхней горизонтальной черте. Очень похожи у майя и древних ариев и многие символические знаки. Но ведь Старый и Новый Свет разделены океаном!

Рассвет известных нам древних цивилизаций приходится на одну и ту же эпоху: примерно 2000 — 1600 годы до нашей эры.

Рассвет харапской культуры Индии датируется 3155 — 1925 годами до нашей эры. Эта культура имела торговые связи с Месопотамией, а Месопотамия — с Египтом. Но и рассвет древних американских цивилизаций многие ученые теперь относят к середине второго тысячелетия до нашей эры.

Как получалось, что примерно в одну эпоху на разных континентах, разделенных просторами океана, начался рассвет культуры? Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте совершим пространственно-временное путешествие по тридцатой параллели северной широты — подобно героям Жюль Верна. Начнем путешествие с нулевого гринвичского меридиана и двинемся на восток.

Итак, 1 градус восточной долготы (г. в. д.), 30 градусов северной широты (г. с. ш.). Ничего интересного, пустыни Африки. Однако, преодолев эти пустыни, увидим одно из чудес света: египетские пирамиды. Конечно, в Египте их много, но великая пирамида Хеопса находится на 30-й параллели.

Дальше мы пересекаем Нил, Аравийскую пустыню и попадаем в Суэц, верхнюю точку Красного моря, через которое Моисей увел евреев из Египта. Пересекаем Синайский полуостров и доходим до 35 градуса восточной долготы. Всего в 150 километрах к северу — Иерусалим, Вифлеем, Назарет (32 г. с. ш., не так уж далеко от 30-й параллели).

Пересекаем Иорданию, Саудовскую Аравию... 45-й градус восточной долготы. В 200 километрах к северу находился древний Вавилон. Двигаясь дальше, выходим к Персидскому заливу, в устье реки Евфрат. От берега Персидского залива пересекаем нынешние Иран, Афганистан, Пакистан — и мы в сказочной Индии.

Великое поле битвы Курукшетра (30 г. с. ш., в 200 км к северо-востоку от современного Дели). Именно здесь, как гласит «Махабхарата», Арджуна получил откровение от самого бога Кришны. Здесь сошлись на битву войска кауравов и пандавов. Тогда начался отсчет Кали-Юги — той эпохи, в которой, согласно учению брахманов, мы живем.

Дальше мы пересекаем верховья великой реки Ганг и попадаем в Гималаи, к истокам другой великой реки — Брахмапутры. Немного южнее 30-й па-

раллели (в 200 км) — Джомолунгма (Эверест).

Мы уже в Тибете. Двигаясь по 30-й параллели, мы неизбежно попадаем в таинственную Лхасу, мировой центр буддизма. Город находится на 30-й параллели.

Из Тибета наш путь — в Китай. Двигаясь по 30-й параллели, мы многократно пересекаем Янцзы, на берегах которой размышлял о судьбах мира великий Конфуций... А вот и Восточно-Китайское море. В 200 к северу устье Янцзы. Переносимся через море — на Японские острова.

И вот мы в Тихом океане. Тридцатая параллель проходит через Гавайский архипелаг, остров Мидуэй (заметьте, что на 30-м градусе, только ЮЖНОЙ широты, в Тихом океане находится остров Пасхи).

В Северной Америке тридцатая параллель проходит по территории Мексики, родины древних ацтеков. В их легендах упоминается всемирный потоп. Свою доисторическую эпоху ацтеки делили на четыре периода (воды, земли, ветра и огня) — как и древние арийцы (Крита-Юга, Трета-Юга, Двапара-Юга, Кали-Юга). Ацтеки возводили пирамиды, подобно древним египтянам...

Двигаясь дальше, мы попадаем в современный Хьюстон: центр космических исследований США также находится на 30-й параллели. Весьма интересное совпадение — сквозь время.

Следуя по 30-й параллели, мы неизбежно попадаем в Атлантику, в скандальный Бермудский треугольник. Бермудские острова расположены на тридцатой параллели. Затем — Канарские острова. Некоторые исследователи считают, что Канарские острова — это вершины гор затонувшей Атлантиды. И вот мы снова в Северной Африке. Закончилось кругосветное путешествие по тридцатой параллели.

Что же получается? Все центры мировых цивилизаций древности — на 30-й параллели северной широты. Если 360 градусов (полный круг земного шара) разделить на 30, получим 12-ю часть полного круга. Возможно, не случайно древние делили круг на 12 частей: двенадцать месяцев и часов, двенадцать знаков Зодиака...

Как бы то ни было, но центры известных мировых цивилизаций возникли

на 30-й параллели почти в одно и то же историческое время — как будто в почву бросили семя.

В связи с этим можно предложить следующие гипотезы:

■ Космическая

Инопланетяне терпят катастрофу на Земле. Двигаясь по тридцатой параллели, пытаются найти базу, корабль и т. п. Встречая по дороге людей, передают им знания.

■ Земная

Гибнет древнейшая земная цивилизация, находящаяся на 30-й параллели. Оставшиеся в живых люди ищут пристанище в привычных им широтах, частично оседая среди аборигенов.

■ Физическая

На 30-й параллели находился (находится) особый источник электромагнитного (или какого-то другого) излучения. Оно влияет на мозговую и психическую деятельность людей, усиливая творческий потенциал.

Мне кажется, если вы ищете Шамбалу, Атлантиду, Лемурию, следы пришельцев и т. п. — искать надо на тридцатой параллели северной широты.

Однажды мне попала в руки книга «Научно-исследовательское судно «Витязь» и его экспедиция 1949-1979 гг.» (М., Наука, 1983). Там говорится об открытиях, сделанных экспедициями «Витязя» за время многолетних плаваний. И вот что я прочитал на с. 199:

«... В 28-м и 30-м рейсах детально изучалась возвышенность в центральной части Северо-Западной котловины (Тихий океан), которая названа возвышенностью Шатского. Установлено, что возвышенность состоит из нескольких крупных массивов. В 34-м рейсе продолжались работы на этой возвышенности, уточнена морфология отдельных массивов. Оказалось, что южная часть сочленяется с северной перешейком в виде широкого вала».

Эта возвышенность представляет собой плато, которое, появившись на поверхности, могло бы стать островом покрупнее Японии. И эта возвышенность — на 30-й параллели. Правда, плато находится на большой глубине (до 3000 метров), но науке известны значительные опускания суши, и, может быть, под волнами Тихого океана скрыты следы великой протоцивилизации...

С. МЯГКОВ

Эта статья — лишь незначительная часть материалов из редакционного портфеля «НАУКИ И РЕЛИГИИ», которые ждут публикации.

Журнал открыт всем культурам и религиям, все направления общественной жизни, ведущим поиск Истины. Народный календарь и обереги, история русского монашества, тексты Корана, школа астрологии, великолепная проза К. Кастанеды, Р. Баха, А. Дэвид-Незль — все это вы найдете в журнале «НАУКА И РЕЛИГИЯ».

Подписаться на журнал можно с любого месяца. Стоимость одного номера в первом полугодии (без стоимости доставки) — 24 рубля. Индекс журнала — 70602 — указан в приложении №1 к российскому каталогу газет и журналов.







Shatoh

АВТОГРАФ

Наш опыт презентации краеведческих новинок носит заведомо случайный характер. Мы представляем только те книжки, которые любезно прислали в редакцию авторы или составители. Эти книжки пополнят родиноведческий раздел библиотеки «Уральского следопыта».

«ТАГИЛЬСКИЙ КРАЕВЕД»

Этот альманах (первый выпуск пришел к читателю осенью 1992 года) родился из рукописного журнала с одноименным названием. 12 его номеров выпустили, начиная с 1988 года, краеведы-энтузиасты Нижнего Тагила. Лучшие материалы этого рукописного предшественника и составили первый выпуск альманаха. На его страницах краеведческие исследования и заметки, очерки и публикации архивных документов.

Книжка богато иллюстрирована фотографиями - старыми и современными, а 250 номерных экземпляров альманаха украшены к тому же фотосупером с изображением улицы старого Тагила.

Заемствуя из тагильского первенца одну из публикаций, желаем ему долголетия.

Письмо Сталину

Секретно
экз. № 1

РСФСР

Уральский областной исполнительный комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов
Отдел снабжения, «Уралоблснаб»
20 ноября 1932 г. № 284
Направляя письмо тов. КОСТРОВА, которым было послано письмо на имя тов. СТАЛИНА, предлагаем в 5-дневный срок проверить и дать конкретные материалы по снабжению рабочих Т.П.О. Вашего района и что им было выдано фактически в сентябре, октябре месяцах. Все материалы вместе с письмом направьте нам в Облснаботдел.
Сектор проверки исполнения

(подпись)

Отп. 2 экз.
Экз. № 1 адрес,
Экз. № 2 в дело

Копия

Тов. СТАЛИН

Скажи, пожалуйста, может ли работать вол, когда он не получает корму.

Я так предчувствую, что ты скажешь, но желая опередить тебя, сообщу, что у нас в РСФСР есть такие укромные места, куда ты отроду не бывал, а местные власти тебя отроду не видали и речей кое-которых разумно сказанных о питании не читали, а поэтому не понимают, что человек, не получающий питания, не может работать.

Каждое животное дает продукцию тогда, когда хозяин позаботился о его питании, а также о его помещении. А вот здесь, ну да и на Украине тоже, этого никак понять не могут и заставляют не вола, а человека, т.е. разумное животное, работать, не давая ему ни куска хлеба.

Вот такой яркий пример: Тагильское РайТПО в течение июня, июля и августа выдало хлеба на работника по 5 кгр. на месяц, а семье вовсе ничего. Кроме этих 5 кгр. ничего получено не было.

Спрашивается, можно что-нибудь спрашивать с рабочего, можно ожидать какой-нибудь производительности труда. Каждый здравомыслящий не запуганный скажет, что посеял, то и пожни. А тут всюю кричим о том, что такая-то домна не выполнила то-то, транспорт не дал того-то и т. д. А вот транспорт-то хуже всех и снабжается, а отсюда и получает весь район — пощечину.

Молотов тут весной как метеор пронесся, с главками, неправильно освещающими положение, покалякал, а в самую гущу и не спустился.

А, следовательно, ничего и не узнал, чем дышит рабочий, что переживает он, кто виной его недоедания и недопивания.

Ведь если бы Молотовы, Рудзутаки ездили не так, как они ездят, то они много бы достали для себя материала, на основе которого много еще надо, чтобы сказать, что мы по истечении пятилетки вышли блестяще.

Если бы Вы, там сидящие, действительно прислушива-

лись, тесно были связаны с трудящимися, а на местах не содержали бы людей в страхе, то Вам бы видно было, что дуба еще нет, не только желудей, а Вы кричите, мы вот как выросли, мы вот что сделали и т.д. Надо побольше дела, а поменьше крику, то сделанное и будет хорошим агитатором и свидетелем роста.

Я знаю небольшой район, ныне он город районный Кушва, который в 19, 20 и в последующих годах как-то рос, в нем власти уют делали и в него как-то влекло. А ныне в конце пятилетки этот город абсолютная развалина. Даже те дома, которые куплены той или иной организацией у исправного мужика - развалили окончательно. Везде грязь, сор, вонь — прямо глаза бы не глядели, что мы делаем.

Ты мне скажешь на это, что в данном случае местные сами виноваты и т.д. Но на это разреши возразить, что местные нередко требуют руководства и притом личного и разумного, что они не получают.

Много бы надо говорить, но нет времени, а поэтому остановлюсь еще на одном вопросе, на который ты ответь в печати.

Получает ли твоя семья хлебный паек. Наши семьи не получают, а поэтому и результаты работы ты видишь в газетах.

Надо питать, иметь кое-что в магазинах, тогда не надо никаких репрессивных мер, все будут работать без оговорочки, и поменьше произвола царского на местах.

Подпись

Костров,
г. Н. Тагил,
Кушневская ул. № 13

О дальнейшей судьбе Кострова сведений не обнаружено.

Публикуемые выше документы хранятся в Нижнетагильском филиале ГАСО.

Материалы подготовил
И. Т. КОВЕРДА

Алексей ТОЛСТОЙ

«КАК МЫ ОХОТИЛИСЬ ПЕРВЫЙ РАЗ НА УТОК»

странички дневника

Вечер стоял тихий и ясный, делать было нечего: и первый нашелся Герман. Он внес предложение ехать на остров стрелять уток.

Патроны были набиты, так что мы сейчас же привели в исполне-



ние это предложение.

Но у самого озера нам встретился Сергей и, указав на стайку вдалеке около камышей плывших уток, сообщил, что это дикие. Мы побежали туда, утки уже зашли в камыши. Герман хотел стрелять первым, я приготовился бить влет, папаша стоял сзади с винтовкой, а Жак ринулся в камыши. Курки взведены, мы в ожидании и взволнованы. И вот из камышей, разрезая воду, выскочила стая утят. Раз, раз, некоторые из них остались, остальная стая бросилась направо.

Двумя выстрелами я прикончил ее. Жак, как сумасшедший, кинулся доставать дичь. В это время из камышей показалась matka. Герман прикончил ее. Весь выводок плавал вверх брюшком. Такой удачной охоты я еще не видел. Но в душе моей уже упало семя ужасного подозрения.

— Жак, подай сюда, там, там. — И одного за другим из густой тины доставал Жак утят. — Господи, — сказал папаша беспокойным голосом, — это дикие утята?

— Ну, конечно.

— Жак, подай сюда. Утенок что-то светлый. Жак, Жак, там, подай сюда, ах ты, дурак!

Но ужасное предположение стало истиной — мы перекрошили стаю домашних уток.

— Чьи они? — Был вопрос. Мы с папашей сильно смеялись. Герман был расстроен.

Взвалив 11 штук на спину, мы пошли на заимку. Нас встретили там изумлением и радостью. Как ни в чем не бывало, я бросил уток на землю и, отойдя, любовался на картину изумления. Жена Сергея подошла и, всплеснув руками, не своим голосом, воскликнула:

— Миленькие, да это моих утяточек перестреляли...

Пришлось заплатить по 20 коп. за утку на круг. Инцидент был исчерпан, и Кучеров с девочками принялись за ошипку и обделку нашей первой дичи.

Германа мы поздравляли рябиновой с пением:

Герман не хочет есть свою дичь.

Папаша: Мы побили русских уток —
Хватит их на 3-е суток.

Я: Баба плачет и вопит,
Своих уток потрошит.

Папаша: А Лопыгин утешает —
Что тебя жалеть мешает?

Я: Герман сумрачно глядит,
Ничего не говорит.

Папаша: В сердце тяжкая печаль:
Ему бедных уток жаль.

Я: На огне стоит горшок,
Лежит уток в нем пяток
Ржут за окнами ребята —
По стенам ползут утята.

Герман убитых утят зовет птицами, боится их съесть и до них не дотрагивается.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ НА УРАЛЕ

Наша публикация — фрагмент из «Дневника разведок золота, 1905 год» двадцатидвухлетнего Алексея Толстого. Он вел дневник день за днем с 23 июня по 15 июля 1905 года во время своего первого пребывания на Урале.¹ Здесь он проходил практику на Невьянском металлургическом заводе, а затем, проехав на Южный Урал, вел разведку золота и одновременно охотился с отцом («папаша») и братом («Герман») своей первой жены Юлии Васильевны Рожанской.

Для Алексея Толстого «всякий дневник ценен только тогда, когда он не литературное произведение, а либо след (во времени) наблюдений за людьми, след эпохи, либо след развития своих мыслей, идей, вызванных восприятием эпохи». «Дневник разведок золота» следует отнести к первому типу: в нем нет размыш-

¹ Во второй раз Толстой приезжал на Урал в 1929 году, чтобы набраться впечатлений для романа «Петр Первый». В том же году он опубликовал написанный им на Урале очерк «Из охотничьего дневника». Третий раз Толстой был на Урале в 1942 году — на заседании юбилейной сессии Академии наук СССР.

лений автора, а преобладают наблюдения над людьми, объективная фотографическая летопись лета, проведенного на Урале. Это дневник веселых происшествий во время разведок золота и охоты. Записей такого характера в рукописном наследии Алексея Толстого больше нет. Героями происшествий в «Дневнике разведок золота» предстают прежде всего сам автор, его родственники, отец и сын Рожанские, старатели Лопыгин и Кучеров, с которыми молодой Толстой вел разведку золота. Наш фрагмент запечатлел одно из таких анекдотических происшествий.

Дневник писался не с творческими целями. Об этом свидетельствуют деловые записи о разведке золота и другие, вплоть до рецептов приготовления грибов, плова и даже манной каши. Охотничьи сюжеты и наблюдения над людьми отмечены веселым юмором, легкой пародией. Так описаны не только главные действующие лица дневника, но и люди, встреченные автором впервые в местах охоты и разведок золота в Кундраве около озера Еланчик. В отличие от творческих дневников и записных книжек Толстого, которые пестрят записями чужих рассказов, поговорок, в «Дневнике разведок золота» таких записей почти нет.

И все-таки у дневника есть связи с художественным наследием писателя. У большого художника, каким был Алексей Толстой, все может стать материалом для творчества. И дневник тоже явился источником сюжетов и образов для целого ряда рассказов, которые мы условно назовем уральскими. Первый — «Старая башня» — написан на материале уральских преданий. Возможно, Толстому уже тогда были известны не только сами предания, но и рассказы Мамина-Сибиряка, очерки Вас. Ив. Немировича-Данченко об Урале. Автор «Старой башни» использовал те же мотивы о заводчиках, о Невьянской башне. С момента публикации рассказа в 1908 году

Алексей Толстой становится профессиональным писателем.

Предание об уральских разбойниках-кошевниках и о боярине Харитонове, который в картежной игре с Екатериной II расплачивался фальшивыми деньгами, изготовленными в его собственной плавильне, легло в основу толстовского рассказа «Харитоновское золото». В центре повествования — предание о подземных лабиринтах дома Харитонова в Екатеринбурге. Герой

своеобразном зачине-предании, в развитии сюжета, благодаря которому предание переведено в единичный, очень конкретный случай с Лопыгиным.

Из «Дневника разведок золота» «проросли» сюжеты и образы рассказов «В лесу» и «Утоли мои печали».

Подлинник дневника хранится в Институте мировой литературы им. А. М. Горького в рукописном фонде А. Н. Толстого.

Личный архив Алексея Нико-



«Харитоновского золота» носит ту же фамилию, что и старатель в «Дневнике разведок золота» — Лопыгин.

Прямое отношение к «Дневнику» имеет рассказ «Самородок»: прототип его героя — тот же рабочий старатель Лопыгин, с которым Толстой вел разведки золота. «Дневник» свидетельствует, что характер Лопыгина вызывал восхищенное удивление молодого Толстого. «Самородок» — самый фольклорный из всех толстовских рассказов об Урале. Народно-поэтическая традиция сказалась во всем его строе: в

лаевича завещан автору этой публикации и хранится в Екатеринбурге.

Публикуемая фотография «Молодой Толстой на охоте» передана автору Людмилой Ильичиной Толстой.

Ирина ЩЕРБАКОВА

На снимках: рисунок ТОЛСТОГО на обложке дневника; молодой Алексей ТОЛСТОЙ на охоте.

Нина КУЗНЕЦОВА

ПЕРВАЯ КНИГА БАЖОВА

За долгие годы изучения творчества Павла Петровича Бажова это была для меня самая большая сенсация. До сих пор считалось, что первой у Бажова вышла книга «Уральские были», изданная в Екатеринбурге в 1924 году. Автор солидной монографии о Бажове Л. И. Скорино писала ее в годы войны, будучи эвакуированной на Урал. Она устно и в письмах расспрашивала Павла Петровича. За несколько месяцев до смерти писателя — в августе 1950 года — его подробно, под стенограмму интервьюировал М. А. Батин, свердловский литературовед, автор нескольких книг и многих статей о Бажове. И никто ни разу сведений о самой первой книге Бажова не получил. Никто о такой и не подозревал.

Я же сведениями о первой книге Бажова располагала лет десять назад. Но ввести ее в научный обиход тогда не смогла: первый же «авторитетный» консультант журнала, куда я предложила маленькое сообщение о своей находке, сразу же уличил меня в том, что я «протаскиваю эсеровскую книжку».

В библиотеках Свердловска, в Доме-музее Бажова этой книги не было. А сведения о ней, как это часто бывает, нашлись случайно. Работая над «Хроникой жизни и творчества П. П. Бажова», я год за годом просматривала газеты и журналы, издававшиеся на Урале, в тех местах, где приходилось жить Бажову.

Листая однажды далеко не полную подшивку газеты «Заря народоправства», издававшуюся в 1917 году в Камышлове, где в то время жил П. Бажов, в номере за 27 июля на первой полосе увидела объявление:

«В исполнительном бюро Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (Земская управа) продаются брошюры:

1. П. П. Бажов: «Программа трудового крестьянства». Ц. 20 коп.
2. «Земля и воля». Ц. 12 коп.

Пересылка в уезд по земской почте бесплатно».

Реклама повторилась несколько раз в последующих номерах газеты. Первую из брошюр, отмеченную фамилией Бажова, через полтора-два месяца я держала в руках. О второй до сих пор приходится гадать: была ли она выпу-

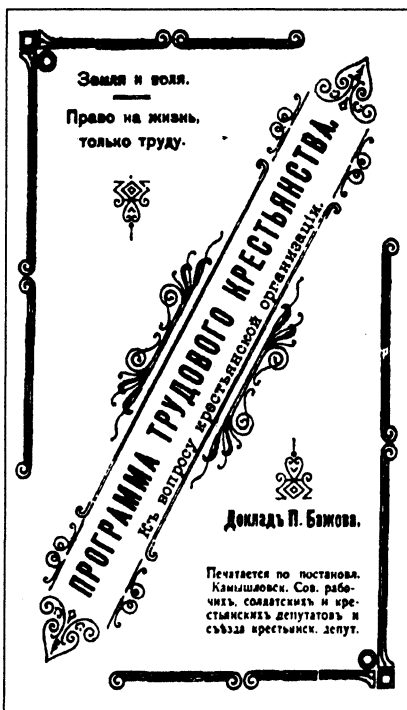
щена без указания автора или тоже написана П. Бажовым, просто его фамилию не упомянули второй раз.

Книга — в мягкой обложке, без титульного листа. В ней 45 страниц и 10 разной величины глав с развернутым заключением по всей тематике. Часть глав имеет названия. Содержание всех глав соотносится с кратким временным отрезком — это первые месяцы после Февральской революции 1917 года (март, апрель, май, июнь). К июлю брошюра, надо думать, уже была сдана в типографию.

С земельной программой трудового крестьянства автор увязывает широкий круг жизни — народное образование сельских жителей, отношение к церкви, вопрос о свободе собраний, и мышления о продолжительности рабочего дня на селе и на заводе, об армии и народном ополчении, о государственном устройстве, кооперации, хлебной монополии.

В постановке и разработке темы чувствуется теоретическая подготовка, начитанность. Формулировки подкрепляются живыми примерами из местной земледельческой жизни. Есть и острое словцо, и пословица.

Летом и осенью 1917 года П. Бажов



был избран делегатом Учредительного собрания от партии эсеров. Я сознательно не касаюсь общественной работы П. Бажова в эти месяцы. Она разнобразна, говорить о ней надо подробно. Изданный доклад — лишь малая

часть ее. И сознательно не даю более глубокого анализа аграрных взглядов П. Бажова. Для этого надо глубже вникнуть в аграрную программу эсеров. Кроме того, взгляды П. Бажова на крестьянство в чем-то отличались от эсеровской программы. Не случайно сам писатель называл свою программу «экзотической».

Моя задача сейчас намного скромнее: ввести первую книгу П. Бажова в научный обиход. Интерес она представляет не только применительно к 1917 году. «Программа трудового крестьянства» в какой-то мере меняет и весь анализ публицистики П. Бажова.

Почему же Павел Петрович так долго и упорно молчал о своей самой первой книге? Да потому, очевидно, что еще в 1933-1934 годах по доносу одного завистника обвиненный в принадлежности к партии эсеров, он был жестоко наказан, а в 1937 году был репрессирован и во второй раз.

*Фоторепродукция Станислава
СТАНКЕВИЧА*

Николай РУПОСОВ

НЕМЦЫ НА АМУРЕ

Купцы-первопроходцы — иркутские, читинские, верхнеудинские, кяхтинские, даже красноярские, первыми пришедшие на Амур в конце 50-х годов прошлого века, там не закрепились, а без боя уступили огромный плацдарм приамурской торговли иностранцам. Почему так произошло? А потому, что наши купцы располагали чаще всего незначительным капиталом, о завтрашнем дне не думали, помышляли лишь о сиюминутном барыше. Затрачивать капиталы на серьезные предприятия — значило крупно рисковать, а этого, как видно, никто не хотел.

Купцом-разведчиком, проехавшим Амур и весь Дальний Восток, стал германский барон Людорф Франц Аугуст. Он сообщил о здешней торговле прусскому правительству и гамбургской купеческой корпорации. В Николаевске-на-Амуре появилось несколько агентов гамбургских фирм, а вскоре приехал крупный коммерсант Генрих Дикман со своим компаньоном Альбертом Кордесом. Их поразили необычные ди-

кие берега и выгодная меновая торговля. Не говоря о водке, за хорошо начищенную медную пуговицу гольд отдавал шкурку соболя. Местные «купцы» брали дань с гиляков, как татарские ханы, а упорствующих — вешали. Местное население не брезговало гнильцой, подмоченной мукой. Немцы оказались свидетелями, когда крестьяне-староверы за пять кос отдали две лошади и уехали с ярмарки весьма довольные. Это был набитый золотом карман, подходи, не ленись, выворачивай его наизнанку. И выворачивание азиатского кармана началось!

Дикман первый из купцов завел на Амуре частный пароход. В Николаевске-на-Амуре он построил склад и сначала приторговывал американскими, японскими, китайскими товарами. Но вот он дождался первых парусных судов из Гамбурга и привез сахар, драп, холсты, вина, стекло, железо. Одного склада оказалось мало, построили второй...

Окончательно утвердиться немцам на Амуре помогло открытие Суэцкого канала. Европейские товары гораздо быстрее русских оказывались в устье Амура, в складах Дикмана. Наши шли по сухопутью через Сибирь и Забайкалье. По этой причине многие русские свернули свои дела, и немцы, сделавшись монополистами и захватив оптовую торговлю, взвинтили цены. Они считали себя полноправными хозяевами Амура. До 1872 года почти все частные пароходы принадлежали им, почти все иностранные суда были зафрахтованы ими. Если Николаевск-на-Амуре представить воротами, то до середины 70-х годов на них висел немецкий замок, а рядом со связкой ключей стояли Дикман и Людорф.

Русское торговое противостояние началось с середины 70-х, когда из-за рубежа прибыли в разобранном виде машины для амурских пароходов.

Золотопромышленная Верхнеамурская компания обзавелась двумя, купец Пахолков — тремя, пять русских компаний завели по одному паровому судну. Самым лучшим считался пароход «Вера». Он принадлежал торговому дому «Братья Зензиновы (Москва) и нерчинский купец И. И. Сибиряков». Сын Сибирякова — Андрей был капитаном парохода, механиком держал тоже русского, что в то время было большой редкостью. «Вера» успешно преодолевала все мели и пороги и была самым оборотистым судном на Амуре, успевая за навигацию четыре раза сходить из Сретенска в Николаевск и обратно.

Торговый дом «Токмаков, Швелев и К» спустил на воду морской 1000-тонный пароход «Батрак», который курсировал с грузами между китайски-

ми портами, Владивостоком и Николаевском. Это уже серьезно беспокоило иностранцев. А начиная с 1879 года, в Тихом океане появляются суда Добровольного флота, которые привозили из России в порты Дальнего Востока все необходимое для жизни и труда. Самый быстроходным был пароход «Москва». Он обогнал коммерческую гордость англичан «London Castle», прибыв из Одессы во Владивосток за 45 дней. Это был триумф.

Но уходя с Амура, иностранцы решили громко хлопнуть дверью. Морской немецкий пароход «Аугустус», перевозивший грузы русских купцов на Амур из Гамбурга, потерпел крушение. Большая часть груза была признана негодной, русские купцы понесли громадные убытки, некоторые даже разорились. «Аугустус» быстренько пошел с молотка, и купил его некто Эткен на... дикманские денежки. С разоблачением выступил барон Людорф. «Груз, — писал он, как бы обращаясь к компании «Дикман и К», — принадлежал русским купцам, которые могли бы сделать вам опасную конкуренцию, вот вы и устроили спектакль с крушением».

Такова страничка истории освоения Амура купцами. «Что мы за люди? — писал знаток и исследователь края П. И. Першин. — Хлебопашец у нас маньчжур, купец — немец, мелочный торгош — китаец, механик — тоже немец или англичанин, рыболов — гольд или гиляк»...

г. Братск

Вадим Кузьмин

КРАСНЫЙ ПАША

В 1921 году Керим Хакимов получил новое назначение — в Персию, на должность генерального консула РСФСР и прибыл в г. Мешхед. Языка фарси он совершенно не знал. Учителем взял садовника. Ходил по базару, прислушиваясь к разговорам. Через месяц он уже выступал перед иранцами, а через пять — свободно говорил на фарси.

Позднее Хакимов освоил арабский. Говорил на французском, итальянском, турецком. Где бы ни работал, никогда не прибегал к помощи переводчиков.

Советский дипломат, первый полномочный представитель СССР в Саудовской Аравии, Керим Абдрауфович Хакимов родился сто лет назад в деревне Дюсянево — на границе юго-западной Башкирии с Оренбургской областью. С 12 лет он батрачил в хозяйстве соседнего бая и одновременно учился в деревенском мектебе, где осваивали



арабскую письменность и читали Коран. Покинув родную деревню, он скитался по Южному Уралу, Казахстану и Средней Азии, получил основательное религиозное образование в нескольких мусульманских медресе Оренбуржья и Уфы, работал дворником, шахтером, был прислугой, чернорабочим, поводырем у слепца, учительствовал... В Туркестане Хакимов некоторое время довелось воевать и работать под руководством В. В. Куйбышева, который и рекомендовал его на дипломатическое поприще.

В январе 1924 года Хакимов стал первым генеральным консулом СССР в королевстве Хиджаз на Аравийском полуострове.

Нарком иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин писал по этому поводу: «Для нас в высшей степени важно попасть в Мекку. Мы именно потому назначаем генеральным консулом мусульманина, чтобы он мог находиться в Мекке. Между тем, кроме т. Хакимова, других подходящих мусульман не оказалось, хотя мы искали очень долго. Некоторые дефекты у т. Хакимова есть, но у других возможных кандидатов дефекты несравненно более значительны. Тов. Хакимов уже привык к нашей политике, так как много лет занимал у нас посты. Мы решили, что в ближайшем будущем т. Хакимов выедет отсюда в Хиджаз».

Накануне отъезда Хакимов был прият Чичериным. Нарком просил особенно внимательно следить за действиями Англии в этом регионе, где у нее были сильные позиции. Хакимову, как мусульманину, разрешили вручить верительные грамоты королю Хиджаза Хусейну из династии хашимитов в Мекке, что он и сделал 9 августа 1924 года. Миссия СССР в Джидде стала первым официальным представительством Советского Союза в арабских странах.

Тем временем на Аравийском полуострове начинаются важные события: энергичный и волевой правитель султана Неджд Ибн Сауд затевает войну с Хиджазом с целью объединения большей части Аравии под своей властью. В этой связи Чичерин инструктирует Хакимова: «Сохраняя дружественные отношения с Хиджазом... не упускать случая войти в контакт с новой силой Аравии — Ибн Саудом». «Наши интересы в арабском вопросе сводятся к объединению арабских земель в одно государственное целое. Если Ибн Сауд будет вести политику объединения арабов — это будет соответствовать нашим интересам и мы должны будем также попытаться сблизиться с ним, как мы это сделали по отношению к Хусейну, который старался объединить Аравию».

В декабре 1924 года войска Сауда вступили в Мекку. Положение Хакимова, аккредитованного при противнике Сауда, стало затруднительным. Однажды он поехал в Мекку и сумел встретиться с Саудом. «Столь удачно организованная и проведенная Вами поездка в Мекку, — писал Чичерин, — значительно обогатила нашу информацию о действительном положении Ибн Сауда и его намерениях».

В декабре 1925 года войска Сауда заняли Джидду, а в начале 1926-го он принял титул «короля Хиджаза, султана Неджда и присоединенных областей», основав государство, которое с сентября 1932 года стало именоваться Королевство Саудовской Аравии. Советский Союз первым признал новое государство на Аравийском полуострове. Дипломатический агент и генеральный консул СССР в Хиджазе К. А. Хакимов с риском для жизни, лично управляя автомобилем с советским флажком на капоте, сумел под обстрелом преодолеть через пустыню расстояние от Джидды до лагеря Сауда и вручить ему официальную ноту. «Правительство СССР, исходя из принципа самоопределения народов... признает Вас королем Хиджаза, султаном Неджда и присоединенных областей. В силу этого Советское правительство считает себя в состоянии нормальных дипломатических отношений с Правительством Вашего Величества». Пози-

ция СССР побудила Англию и другие державы тоже признать Сауда.

Хакимов проработал в Хиджазе четыре года. Его хорошо знали в Аравии, арабы называли его Керим-бей. Его работой был доволен и нарком Чичерин.

В сентябре 1928 года в Джидду на смену Хакимову прибыл новый дипломатический агент и генеральный консул СССР Н. Т. Тюрякулов, а Хакимов был назначен представителем Ближневостокторга СССР в Йемене. Как пишет историк И. П. Сенченко, «произведя такую «рокировку», советское правительство, судя по всему, исходило из того, что К. А. Хакимов сможет не только укрепить позиции СССР в Йемене, как он это сделал в Саудовской Аравии, но и содействовать урегулированию отношений йеменского имама Яхьи с Ибн Саудом и тем самым еще больше повысить их заинтересованность в Советском Союзе».

В Йемене К. А. Хакимов проработал немногим более двух лет. Позднее, в 1990 году посол СССР в Йеменской Арабской Республике В. В. Попов так характеризовал его работу в Аравии: «То, что сделал этот человек как дипломат, как представитель нашей страны, трудно переоценить. Именно в результате его личного вклада был заложен фундамент отношений молодого советского государства с арабским миром... Благодаря глубокому знанию истории, традиций, обычаев арабов, необычайному такту, умению расположить к себе людей, Хакимов пользовался у йеменцев и саудовцев огромным уважением... Арабским он владел превосходно, даже арабы поражались его умению столь глубоко, витиевато и чисто «по-арабски» излагать мысли. Читать написанные его рукой документы — одно наслаждение: так грамотно, так профессионально они написаны, и такой сочный, выразительный язык. Он был вхож во дворцы, и его с радостью встречали бедняки в своих лачугах, его дом всегда был полон гостей — приходили и купцы, и приближенные королевской семьи, и простой люд.

Невысокий, с оспинками угольной пыли, ввевшимися в кожу, он становился душой любой компании, хорошо пел, а в трудных ситуациях умел сохранять чувство юмора. В столице Йемена Санае до сих пор помнят, как по вечерам он нередко брал скрипку, и звуки прекрасных мелодий разносились по округе. Двери трехэтажного дома правительства Ближневостокторга были открыты для духовных лиц, торговцев, представителей интеллигенции. Йеменцев принимали обычно на втором этаже, оставленном по традиции без окон. Там был расстелен ковер, и за кофе, чаем с непререкаемыми башкирскими лепешками, с кальяном, пе-

реходившим из рук в руки, велись неторопливые беседы с гостями. За годы дипломатической работы в Аравии Хакимову приходилось быть и водителем, и механиком, и ремонтировать электростанцию, и мастерить мебель...

Условия, в которых работали сотрудники первых советских миссий в Аравии (советская община в Санае насчитывала всего человек десять), были очень тяжелыми: невыносимая жара, свирепствуют болезни, не хватает питьевой воды...

В октябре 1932 года ЦК ВКП (б) рекомендовал Хакимова на учебу в Институт красной профессуры. А по окончании учебы в 1935 году Хакимов снова назначается полномочным представителем СССР в Саудовской Аравии. Его возвращение оживило советско-саудовские отношения, возобновился политический диалог, и арабские купцы снова стали обращаться с конкретными деловыми предложениями.

Однако открывшиеся было перспективы вскоре были сведены на нет. Сталинские репрессии, обрушившиеся на советское общество, сказались и на внешней политике СССР. Началось истребление дипломатических кадров. На родину вызывались и бесследно исчезали в застенках НКВД лучшие представители советской дипломатии. Маховик репрессий не обошел стороной и представительство в Джидде. 6 сентября 1937 года К. А. Хакимова неожиданно отозвали в Москву. По ложному доносу он был арестован, обвинен в «чрезмерной активности» и «шпионаже» сразу в пользу нескольких держав, осужден как «враг народа» и в 1938 году расстрелян. Узнав об этом, король Сауд заявил, что не желает другого советского посла. В ответ Москва подвела советскую миссию в Джидде под сокращение штатов. Было принято решение упразднить полпредство СССР в Саудовской Аравии. Так, не будучи разорваны формально, советско-саудовские отношения тоже стали жертвой сталинских репрессий. Только 17 сентября 1990 года СССР и Саудовская Аравия приняли решение возобновить обмен дипломатическими представительствами на уровне посольств.

К. А. Хакимов реабилитирован решением военной коллегии Верховного Суда СССР в 1956 году. На его родине, в Башкирии, в деревне Дюсянево открыт музей. В Оренбурге, Бухаре, Ташкенте и Уфе есть улицы, названные его именем. На сцене Башкирского драматического театра много лет шла пьеса башкирского драматурга Н. В. Асанбаева «Красный паша», рассказывающая о дипломатической работе Хакимова в Аравии.

г. Екатеринбург

Валерий ШАРИН

ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР НА МОНЕТАХ РОССИИ

Эпоха царствования Николая II не оставила в нумизматике богатых галерей с портретами самодержца.

В 1896 году двадцативосьмилетний Николай Александрович был коронован в Москве. В честь этой даты отчеканили памятный рубль, получивший наименование коронационного; на нем впервые появился портрет молодого императора. Входит в обращение и новый тип общегосударственных монет с изображением царя. Причем голова императора на монетах повернута профилем в левую сторону — случай в истории российского денежного обращения почти уникальный¹. Автором штемпелей лицевой стороны золотых и серебряных монет массового выпуска 1895-1915 годов стал известный художник-медальер А. Ф. Васютинский.

Наиболее интересен памятный рубль, выпущенный к 300-летию правления дома Романовых. На лицевой стороне монеты изображены Николай II в форме полковника стрелкового полка и глава династии Михаил Федорович в царском одеянии и шапке. Изображение обрамлено византийским орнаментом из бус. За основу для резки штемпелей художник взял настольную медаль скульптора М. Кержина.

Выпуск рублей 1913 года чеканился штемпелями юбилейного рубля. Но после 50-тысячной монеты рельеф был признан плоским. Васютинскому пришлось снова вырезать штампы, углубляя изображение. Тираж выпуска составил 1,5 млн. экземпляров. Коллекционерам хорошо известны эти две разновидности рубля — так называемые плоский и выпуклый чеканы (рис 2).

Первая мировая война положила конец нормальному денежному обращению. С начала войны не вышло ни одной полноценной монеты. Известен рубль 1915 года — последний из чеканившихся рублей общегосударственного образца. Но изготовлен он был вовсе не для обращения: 600 монет отчеканили для сувенирной раздачи солдатам одной воинской части, отмечавшей свой 100-летний юбилей.

Российское правительство не раз



было вынуждено передавать заказы на чеканку серебряной и золотой монеты за границу, не прекращая изготовления таковых и в Петербурге. Такие монеты помечались на гурте условным знаком — одной звездочкой. Во Франции чеканилась и часть тиража 25-копеечной монеты с изображением Николая II, не имеющая условного обозначения монетного двора.

Брюссельский монетный двор в Бельгии чеканил часть тиража рублевиков 1837-1899 годов. На гурте монет проставлен условный знак монетного двора: стандартный — две перевернутые звездочки или пробный, не получивший утверждения, — две «птички».

Портрет императора помещался на серебряных монетах достоинством 25, 50 копеек и один рубль и на всех золотых монетах чеканки периода царствования императора вплоть до 1911 года.

Интересные катаклизмы происходили с золотой монетой. В 1897 году во время реформы министра финансов С. Ю. Витте основой русской денежной системы стал золотой рубль в качестве денежной (а не монетной) единицы. На некоторых золотых монетах 1895-1908 годов, кроме основного обозначения номинала, указывалось также соответствие этих монет империялу или его частям. В 1895 году чеканится пробная серия золотых монет по повышенной в полтора раза монетной стопе с заменой в обозначении номинала названия «рубль» на «рус» и с соответствием империялу в 15 русов. Начиная с 1897 года золотую монету стали чеканить по монетной стопе, по которой чеканились русы, но с исчислением в рублях. Таким образом, империялом стала называться 15-рублевая монета, равная по массе прежнему 10-рублевику (рис. 3).

В 1902 году выпускались самые крупные по номиналу русские золотые монеты с двойным обозначением достоинства: 37 1/2 рубля — 100 франков. Фактически этим фиксировался тогдашний валютный курс: 1 франк — 37,5 копеек. Монеты эти первоначально предназначались для зарубежных платежей, но, отчеканенные крайне малым тиражом, они использовались, вероятно, лишь в качестве подарочных (подарочных) монет, раздаваемых царской семьей в виде поощрения, сувениров (рис. 4).

Портрет императора на золотых монетах полностью дублировал изображение на серебряных общегосударственных

В 1915 году портрет самодержца исчез с российских монет, а 17 июля 1918 года не стало и самого царя.

¹ — Первыми левосторонними общегосударственными монетами были рублевики и полтины Екатерины I.

ДЕЛО БОДХИДХАРМЫ



*Иисус сказал:
Я бросил огонь в мир,
и вот я охраняю его,
пока он не запылает.*

Евангелие от Фомы
(гностический текст
из собрания
Наг-Хаммади)

ИМЯ

Строго говоря, наши знания о жизни Зороастра или Христа основаны на столь же шатком фундаменте религиозной традиции. Принципиального отличия здесь нет. Выдающийся русский буддолог, академик С. Ф. Ольденбург в своей лекции о жизни Будды очень точно заметил, что в результате кропотливейшего анализа ученых лишь «некоторые крупницы точных исторических сведений получают, но только крупницы и не больше — цельный образ Будды, Христа, Мухаммеда получит только тот, кто узнает их такими, какими их представляли и представляют себе буддисты, христиане, мусульмане. И только эти образы для нас важны... а те неопределенные тени, которые мы пытаемся очертить при помощи отдельных крупниц того, что считаем исторической правдой, только тени и больше ничего». И даже если Бодхидхарма, как полагают некоторые специалисты, вообще не существовал как основоположник чаньской традиции, а жизнь его целиком сводится к житию, то и такую информацию игнорировать нельзя. Она важна. Ибо в легенде о деле Бодхидхармы, о его основополагающей миссии, отразился, как в зеркале, сам чань-буддизм во всей полноте своей оригинальности.

Что же осталось в нашем мире от необычной фигуры этого индийского эрудита, аскета, учителя?

Осталось имя: в индийском его звучании — Бодхидхарма — это сложное слово, состоящее из двух частей. Первая часть — слово «бодхи» — на санскрите означает «пробуждение». В буддизме им обозначаются высшие состояния сознания, духовное просветление. Второе слово — дхарма» (в переводе с санскрита — «закон», «долг»,

«справедливость», «качество», «характер») — являются одним из центральных понятий буддийской теории. Оно имеет множество значений, но главное для буддиста — понимать, что дхарма есть извечная Истина, которая всегда была и всегда будет лежать в основе внутренней структуры всех времен и пространств Вселенной. Дхарма подобна луне, скрытой на время грядой облаков; подобна горе, покрытой дымкой утреннего тумана. Именно этот всеобщий космический закон, действующий везде и всегда, предстал перед внутренним взором Шакьямуни, когда, в результате просветления, пелена неведения спала с его глаз. Как видим, само имя основателя секты чань содержит в себе большую претензию, будучи составленным из двух стержневых понятий буддийской доктрины. В Китае Бодхидхарму называют Дамо (полностью Пути-Дамо), в Японии — Дарума (полностью — Бодай-Дарума), в Корее — Далма.

Остались многочисленные безногие болванчики, призванные изобразить Даруму — популярнейшее божество японского народного буддизма. Дарума благосклонен и добр, он приносит счастье и исполняет желания. В Японии и сегодня в дни религиозных праздников торгуют безглазыми изображениями Дарумы, на которых покупатель сам рисует один глаз, загадывает желание, а затем дорисовывает второй, когда желание исполняется.

И, наконец, главное, что осталось нам от Бодхидхармы — это дело его жизни — огонь учения, зажженный им. «Для рук, заготавливающих хворост, — написано в третьей главе даосского трактата «Чжуан-цзы» — наступает предел. Но огонь продолжает разгораться, и есть ли ему предел — неизвестно. Предела костру, искрой для которого послужила деятельность Бодхидхармы, нет. Об этом сейчас можно говорить с уверенностью. За минувшие полторы тысячи лет мир довольно сильно изменился, но чань-буддизм прочно удержал свои позиции. Более того, он даже совершил в XX веке прыжок на Запад, полностью адаптировавшись в иной культурной среде и став неотъемлемой частью духовной культуры западного мира. По некоторым данным, в конце нашего века в мире

О Бодхидхарме, полулегендарном основателе чань-буддизма, нет ни одной книги, ни одной статьи на русском языке. Отсутствие монографий и научных статей не удивляет — исследователи не располагают ни единым фактом из его долгой жизни, который был бы всеми признан как абсолютно достоверный. Но о Бодхидхарме персонально нет вообще ничего — ни статьи, ни даже малюсенькой справки в энциклопедии или словаре. Знаем ли мы о нем столь мало, что и сказать что-либо нельзя? Или, может быть, жизнь его была настолько ничтожной, что не заслуживает сегодня даже упоминания? На оба этих вопроса ответ может быть лишь отрицательный.

насчитывается около 10 миллионов последователей дзэн-буддизма, большая часть которых, около 9 млн. — проживает в Японии.

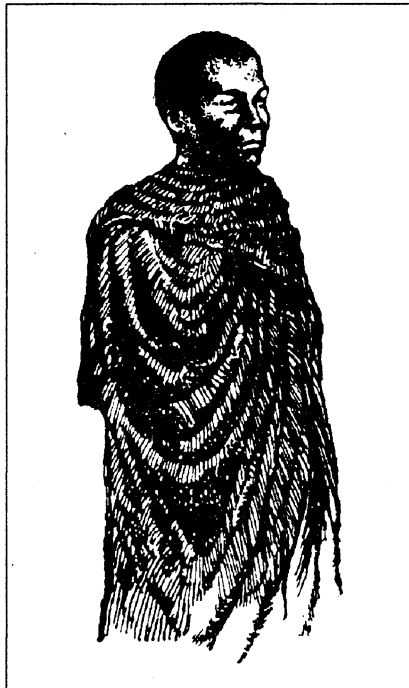
Хворост для пылающего ныне столь ярко костра заготавливался в Китае на рубеже 5-6 вв.н.э. Бодхидхарма прибыл из Индии в Китай где-то около 520 г. В литературе можно встретить и другие варианты датировки этого события, например, — 480 или 526, однако год 520-й фигурирует наиболее часто, и мы, с определенной долей условности, впрочем, как и все остальное в этой истории, примем его за отправную точку повествования.

Когда Бодхидхарма впервые ступил на китайскую землю, он был уже в весьма почтенном — пенсионном, по нашим понятиям, возрасте: предполагают, что ему было уже шестьдесят лет. Что мы знаем об индийском периоде его жизни? Знаем столь мало, что почти ничего. Характерной чертой индийской цивилизации, в отличие от китайской или средиземноморско-европейской, является практически полное отсутствие потребности в письменной фиксации реальных исторических событий. В индийской культуре существует весьма своеобразная единица измерения времени, называемая «кальпа» — «день-и-ночь» Брахмы, авная 8 640 000 000 «человеческих» лет, ну а там, где время измеряют такими «единицами», память о шестидесяти годах одной человеческой жизни вряд ли может сохраниться. Скажем к слову, что если бы не китайцы, мы не знали бы о Бодхидхарме вообще ничего.

Чаньская традиция почитает Бодхидхарму как двадцать восьмого общепризнанного патриарха, продолжающего прямую линию преемственности патриархов, начинающуюся непосредственно от самого Будды Шакьямуни. Полагают, что Бодхидхарма, как и сам Будда, принадлежал к сословию кшатриев (воинов) и происходил из княжеского рода. В далекой молодости, еще до того как пойти по Среднему пути, он в совершенстве овладел приемами индийского боевого искусства, то есть, весьма вероятно, имел богатую практику их применения. Что заставило его отказаться от силы, власти, богатства и пойти странствовать нищим монахом, мы сегодня можем только гадать. Достаточно хорошо известна и, наверное, весьма характерна для тех времен и общественных настроений история принца Сиддхартхи. Может, и у будущего основоположника китайской традиции чань получилось в жизни также, а может, и иначе — кто знает, да и знал ли кто-нибудь это и в прошлом? Адепты чань не имели обыкновения писать мемуары.

Понятно, однако, что, оставив светлый мир, Бодхидхарма сделал в Индии блестящую духовную карьеру: традиция называет его патриархом, эрудиция его в области буддийской теории и практики общепризнанна. Бодхидхар-

ма формально прибыл в Китай как «наставник в законе» — проповедник, излагающий и комментирующий основные положения буддийского учения. Он специализировался на «Ланкаватара-сутре» — одном из самых важных текстов буддизма (махаяны школы виджнянавада), состоящего из диалогов Будды с учеником по имени Махамати. «Ланкаватара-сутра» трактует чрезвычайно актуальные для каждого буддиста вопросы о путях достижения внутреннего просветления. Известно, что Бодхидхарма достаточно быстро выучил китайский язык, что может рассматриваться как еще одно свидетельство его способностей и эрудиции. Он



овладел китайским настолько, что перевел «Ланкаватара-сутру» и ряд других священных текстов с санскрита на этот неродной ему язык. Именно в знак признания его духовного авторитета и глубоких знаний канона, он был удостоен аудиенции императора, о которой будет рассказано ниже.

Согласно преданию, главной целью миссии Бодхидхармы в Китай было распространение чань-буддизма на восток. Звучит это весьма странно, так как среди двух десятков буддийских школ и направлений, обосновавшихся в стране, китайцам в 5-6 вв. была хорошо известна и индийская по происхождению буддийская школа дхьяны. (Наименование этой секты происходит от санскритского слова, обозначающего «сосредоточение», «медитация». Китайский эквивалент слова «дхьяна» — «чань» или «чань-на» и дал имя традиции, основанной Бодхидхармой). Школа дхьяны призывала своих последователей время от времени отрешаться от мира, этой вечной «суеты сует», и кон-

центрировать свои мысли и чувства на определенной точке, что при необходимой практике позволяет адепту войти в измененное состояние сознания. Среди ранних приверженцев учения дхьяны в Китае были Дао-ань (312-385), первый китайский патриарх буддизма, и Хуэй-юань (334-417), крупнейший знаток и авторитет среди буддистов страны после смерти Дао-аня. Они активно переводили на китайский сутры дхьяны и пропагандировали практику медитации. Поэтому заявление о том, что Бодхидхарма пришел в Китай специально для того, чтобы принести сюда учение дхьяны, звучит весьма непонятно, так как эта школа появилась в Поднебесной за двести лет до него. Снять данное противоречие весьма легко, допустив, что система Бодхидхармы и доктрина дхьяны есть далеко не одно и то же, но это совсем иная тема. Предмет же нашей статьи — загадочная личность первого чаньского патриарха.

ИМПЕРАТОР

Вначале он действовал вполне логично, приняв предложение посетить дворец императора. Император У-ди (502-549) из династии Лян был известен как фанатичный приверженец буддийской веры. Во время его царствования буддизм был объявлен на юге страны чем-то вроде официальной государственной религии, а все даосские храмы (даосизм являлся тогда главным идеологическим противником буддизма) было предписано запретить и разрушить. У-ди жертвовал монастырям огромные суммы денег из государственной казны, строил новые великолепные храмы, устраивал грандиозные вегетарианские пиры для монахов и мирян. Вера его была искренней, он и умер как жил — даже спустя столетия ортодоксальные конфуцианцы приводили его как пример буддийского фанатика на троне, умершего от регулярных злоупотреблений ограничениями буддийской диеты, а проще говоря — от истощения и голода. Услышав о прибытии в страну известного индийского наставника в законе, У-ди счел своим религиозным долгом встретиться с ним.

Встреча была неожиданно короткой. Сначала У-ди скромно рассказал, даже несколько преуменьшив, как и положено благочестивому мирянину, о своих добрых делах по распространению дхармы и поддержке сангхи. Затем, вполне справедливо рассчитывая на благодарность и благословение знаменитости, император спросил, приумножил ли он свои добродетели тем, что строил монастыри и храмы, ступы и пагоды. Ответ Бодхидхармы прозвучал как гром среди ясного неба: «Нет! В этом нет никаких заслуг!» У-ди не поверил своим ушам, он был сбит с толку и обескуражен: заявление пришельца

противоречило всему, что он слышал раньше. Император спросил снова: «Каков же в таком случае основной принцип учения?» На это Бодхидхарма ответил: «Оно пусто, в нем нет ничего святого». «Кто же тогда ты, что стоишь перед нами?» — вновь спросил У-ди. «Я не знаю», — был ответ. Разговаривать больше было не о чем — и аудиенция закончилась.

ПЕЩЕРА

Покинув императорский дворец, Бодхидхарма отправился в горы Суншань (ныне это территория китайской провинции Хэнань). Там в горе Шаоши находилась пещера, в которой патриарх провел следующие девять лет в неподвижной сидячей медитации перед стеной — так, по крайней мере, говорят буддийские тексты. Ряд исследователей, в том числе выдающийся популяризатор дзэна на Западе Д. Т. Судзуки (1870-1966), полагают, что выражение источников «цзо чань би гуань» — «сидя в созерцании, взглядом уставившись в стену», ни в коем случае не следует понимать буквально, ибо оно есть изложение внутреннего состояния Бодхидхармы, освободившего свое сознание от понятийных представлений. Традиция же, напротив, довольно однозначно утверждает, что все эти девять лет патриарх столь упорно занимался медитацией, что ноги его атрофировались и он не мог ходить. Как гласит легенда, во время бесконечной медитации Бодхидхарма желал обходиться без сна, чтобы не прерывать созерцание ни на миг. Но однажды — пока ты человек, ты слаб — патриарх уснул. Очнувшись, Бодхидхарма в гневе отрезал себе веки, посчитав их виновниками сна. Упавшие на землю ресницы святого дали ростки чайного куста, из листьев которого и стали готовить бодрящий напиток. (Заметим попутно, что искусство чаепития действительно впервые возникло в буддийских монастырях, а затем уже стало национальным обычаем китайцев.)

Эти два случая, сохраненные легендой, достаточно хорошо характеризуют личность основателя чань. Традиционные изображения Бодхидхармы вполне гармонируют с этим представлением — они создают образ свирепого с виду человека с густой черной бородой и полубезумным взглядом вытаращенных глаз. Глядя на них, чувствуешь, что такой человек способен на все ради духовного прогресса, ибо тело для него — скотское.

Как бы там ни было на самом деле — находился ли патриарх в небольшом горном монастыре или в пещере горы Шаоши в состоянии непрерывной многолетней медитации — но после встречи с У-ди Бодхидхарма повел себя, как кажется на первый взгляд, весьма нелогично. Он не стал собирать вокруг себя толпы народа, убеждая их в своей

правоте, и проводить бесконечные диспуты с действительными и воображаемыми оппонентами, как делали обычно иноземные проповедники. Этот пришелец с Запада предпочел добровольную неизвестность. Последовавшие девять лет уединенного созерцания стены темной пещеры являются, как полагает американский буддолог В. Р. Лафлер, центральной частью предания о Бодхидхарме. Ему уже было шестьдесят, он принес в Китай «истинную» форму буддизма, го которой, сомнений здесь у него не было, исстрадавшаяся эта страна — и он фактически заживо погребает себя в горе. Бодхидхарма стар, в любой день он может умереть — и искра учения умрет вместе с ним, дело его жизни погибнет. Основатель чань сознательно идет на это — пусть лучше искра потухнет в этой темной пещере, чем попадет к тем, кто может жить без нее. Хворост для будущего костра должен быть сухим.

Кроме того, важно заметить, что все эти годы уединения Бодхидхарма самозабвенно занимается медитацией. Он упорно делает то, о чем иначе ему пришлось бы рассказывать на словах. Придя на китайскую землю, патриарх своим личным примером сообщает то, что должно быть перенято китайцами. Он учит не словами, но своими прямыми действиями. Бодхидхарма предстает перед нами как удивительно цельная фигура, как идеальная человеческая личность, без малейшего разрыва между мыслью, словом и делом.

Бодхидхарме пришлось долго ждать. Но ожидание его не было напрасным — спустя девять лет появился человек, который был достаточно «сух», для которого тайна пришельца с Запада была важнее жизни. Этим человеком был китайский монах по имени Хуэй-кэ, проживший 108 лет (487-595) и ставший вторым патриархом чань. Хуэй-кэ был поражен аскетизмом старца, отрезавшего себе веки и утратившего возможность ходить. Он неоднократно просил Бодхидхарму взять его себе в ученики, но каждый раз получал отказ. Это не могло смутить Хуэй-кэ, ибо судьба его уже была решена, оставалось только сделать свою готовность очевидной. Сначала он стоял в снегу перед пещерой до тех пор, пока его не занесло по пояс, а когда и это не убедило Бодхидхарму, китайский монах отрезал себе левую руку и преподнес ее патриарху как символ решимости идти по пути чань несмотря ни на что.

Подобная «метода» набора учеников стала впоследствии традиционной для школы, основанной Бодхидхармой. Учитель отказывает кандидату в ученики, несмотря на все убеждения и мольбы последнего. Даже сегодня в современной Японии желающие стать монахами дзэн должны многие дни напролет сидеть перед храмом до того, как им позволено будет только войти. Так проверяется характер ученика,

степень его решимости, соответствие слов убеждениям. Слова для адептов чань неубедительны, убеждают лишь дела.

Хуэй-кэ был готов. Отсеченная рука есть достаточно веское основание и Бодхидхарма спросил, что ему нужно. «У меня нет в душе покоя, — ответил Хуэй-кэ, — пожалуйста, успокой мою душу.» «Вытащи и покажи ее мне. Тогда я успокою ее», — сказал Бодхидхарма. «Но когда я начинаю искать свою душу, я никак не могу обнаружить ее». «Ну вот, я и успокоил твою душу», — улыбнулся Бодхидхарма.

Приведенный выше разговор стал первым шагом Хуэй-кэ по долгому пути обучения. Но шаг этот имел огромное значение — в тот миг, когда Хуэй-кэ услышал последнюю реплику учителя, он обрел просветление, а сам диалог стал первым образцом «вэнь-да» — «вопроса-ответа», целью которых было свергнуть вопрошающего в некое внезапное озарение и вызвать к жизни активную работу его интуиции. Просветление — конечная цель любого буддиста, для Хуэй-кэ, предназначенного судьбой стать преемником Бодхидхармы, было явно недостаточным. Чему же еще учил его Бодхидхарма? И что вообще можно сказать об учении этого человека?

УЧЕНИЕ

Бодхидхарма принес с собой в Китай медитативную практику; необычный, сугубо чаньский ритуал и ряд теоретических постулатов.

Духовная практика понималась им как сидячая медитация при максимальном, лишенном зрительных образов, сосредоточении. Специалисты достаточно давно пришли к выводу, что чаньская медитация не была простым повторением, ни даже развитием индийской дхианы. Традиция, основанная Бодхидхармой, была преимущественно оригинальной.

Второе его нововведение — это радикальная реформа буддийского ритуала. Отвергнув существующий в то время пышный ритуал как форму общения с Богом, он создал чаньскую традицию своеобразного «антиритуала» — интимную церемонию, которая впоследствии получила название «чайной церемонии» и широко распространилась в Китае, а затем и на Японских островах. Вполне возможно, что и культура чая и чаепития также была привита в Китае самим Бодхидхармой — «дух чань подобен вкусу чая» — эти слова, будто бы сказанные им, дошли до нас через века.

Основные теоретические положения доктрины первого чаньского патриарха были сформулированы в приписываемом ему сочинении «Трактат о светильнике и свете» («Дэн дьян цзи»). Достоверность и атрибуция данного текста вызывает большие сомнения, но

вся буддийская традиция Китая достаточно единодушно приписывает Бодхидхарме разработку четырех основополагающих тезисов, на которых основана вся дзэнская теория и практика. Коротко воспроизведу их, следуя лапидарной манере самого Бодхидхармы.

■
ПЕРЕДАЧА ИСТИНЫ
ВНЕ ПИСАНИЙ И РЕЧЕЙ.

■
ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СЛОВА И БУКВЫ,

■
ПЕРЕДАЧА МЫСЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ БЕЗ
ПОМОЩИ СЛОВА ИЛИ РИТУАЛА.

■
СОЗЕРЦАНИЕ СОБСТВЕННОЙ
ИЗНАЧАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ И ЕСТЬ
РЕАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БУДДЫ.

■
Простое перечисление этих тезисов блестяще доказывает то общепризнанное положение, что из всех других сект и направлений китайского буддизма школа чань была в наибольшей степени китайской. Три первые тезиса направлены, как представляется, преимущественно против конфуцианской парадигмы, ставшей одной из основ китайской культуры, гласящей, что лишь грамотный человек, человек, умеющий понимать классические тексты и создавать новые, есть «цивилизованный» человек, то есть человек в полном смысле этого слова. Свод канонических текстов рассматривался как абсолютно необходимое пространство, вне которого не могут существовать ни культура, ни цивилизация. Как рыба не может существовать без воды, так и культура не может существовать без канона. Подобное, в высшей степени трепетное отношение к письменному тексту как к явленной духовности, характерно, хотя в несколько меньшей мере, и для буддийской традиции. В Китае, кроме того, существовало достаточно влиятельное периферийное даосское течение, в основу которого был заложен принцип недоверия к знаку и слову как единственным средствам передачи истины. Именно даосизм вполне мог стать хорошей питательной средой для формирования процитированных выше тезисов Бодхидхармы. (Отмечу, что истоки четвертого тезиса могут быть без особого труда обнаружены не только в индийской буддийской, но и в китайской даосской традиции).

Не будет излишне большой смелостью предположить, что данное учение вполне импонировало аскетичной нату-

ре Хуэй-кэ и что усваивал он его достаточно легко. Был ли он грамотен и обладал ли необходимой в ортодоксальном буддизме книжной ученостью, мы не знаем, а вот о наиболее знаменитом чаньском патриархе Хуэй-нэне (638-713, шестой общечаньский и первый патриарх южной ветви этой школы) достоверно известно, что он не умел ни читать, ни писать. Да это и совсем не нужно — по Бодхидхарме книжная грамотность не является необходимым условием достижения просветления. Данное положение весьма импонировало широким (читай — безграмотным) народным массам — они-то и явились превосходным материалом для костра Учения, книжники-интеллектуалы пошли позднее, когда огонь уже достаточно разгорелся. Что касается Хуэй-кэ, то он был лишь первой китайской веткой этого костра.

МОНАСТЫРЬ

После успешного опыта индивидуального обращения и обучения, Бодхидхарма решил, что настало время поработать и с коллективом. Эта идея, вполне вероятно, была подброшена ему Хуэй-кэ, который знал о нахождении поблизости целой группы людей, достаточно «сухих» для восприятия Учения. Согласно историческому преданию, бытовавшему среди последователей шаолинского стиля боевого искусства, выйдя из пещеры (возможно, подвижность ног удалось вскоре восстановить), Бодхидхарма присоединился к общине буддийского монастыря Шаолинь, расположенного по соседству с местом его многолетнего уединения. Здесь-то патриарху и понадобились совершенное владение приемами индийского боевого искусства (ваджрамушти), которым он обучился в далекой бурной молодости. Дело в том, что в то беспокойное время монастырь Шаолинь, лежащий на склонах, покрытых густыми лесами, гор Суншань, был объектом постоянных нападений местных разбойников, грабивших и убивавших беззащитных монахов. Наряду с теорией и практикой системы чань, Бодхидхарма преподавал своим китайским ученикам и основные азы рукопашного боя, которые, без всякого сомнения, пошли им на пользу. Разбойники в ближних и дальних окрестностях через короткое время все вывелись, а пошатнувшееся по причине малоподвижного образа жизни здоровье монашеской братии значительно укрепилось. Впоследствии боевое искусство, родоначальником которого фигурирует пришелец из Индии, привилось на китайской почве и дало обильные плоды. Традиция гласит, что Бодхидхарма возглавил Шаолинский монастырь (или даже основал его) и руководил им некоторое время.

КОСТЕР

Что же случилось с ним дальше? Как был положен предел «рукам, заготававшим хворост?» Этого мы не знаем. Дело его было сделано, костер учения ярко пылал — а это было самым главным для него и его последователей. Что делал Бодхидхарма потом, как и где он умер, можно только гадать. Известно, что в чаньских монастырях ежегодно почитался день смерти Бодхидхармы — пятый день десятой луны, но это ничего не значит. Биография патриарха, написанная почти пять столетий спустя после его прихода в Китай, гласит, что, обучив достаточное количество китайских учеников, Бодхидхарма ушел в Индию. Дошел ли до Индии этот упрямый семидесятилетний старец? Для людей, поддержи-



вавших пламя его костра, это не имело особого значения. Уже упоминавшийся шестой патриарх чань Хуэй-нэн в своей знаменитой «Книге поучений» приводит якобы сохранившееся стихотворение-завещание «святого отца» Бодхидхармы:

Я давно пришел в Китай,
Чтобы передать учение
и уничтожить ереси.

Цветок открыт пять лепестков
И плоды созрели сами собой.

И здесь, как видим, нет ни слова ни о его жизни, ни о его конце. Традиция крайне скупа относительно периода, предшествовавшего его приходу в Китай, и о его дальнейшей судьбе. Странная биография получается у первого чаньского патриарха — нет ни начала, ни конца, и это само по себе глубоко символично. До нас дошло лишь самое главное — повествование о свершенном деле Бодхидхармы, о зажженном им костре чаньского учения.

«Надо петь, как в народе ПОЮТ...»

■ Корр.: Елена Андреевна, все было уместно, однородно, гармонично — не было проблем?

□ Е.С.: Ошибаетесь... В какой-то момент ко мне подошла одна дама, я воспроизведу разговор с ней. Она говорит:

— Уходите отсюда, вы мешаете воспринимать картины Рериха.

— Позвольте, — отвечаю я, — здесь выступал, кроме меня, детский фольклорный ансамбль, дети вам тоже мешали?

— Мешали тоже.

— Я думаю, сам Николай Константинович Рерих этого бы не сказал, если бы слышал народные песни у своих картин...

— Народные песни я слышу каждый день. А Рериха вижу далеко не каждый.

— Где же вы народные песни слышите каждый день?

— По радио.

— Да нет этого!.. Не звучат такие песни каждый день по радио!..

Вот такой разговор. Ужасно. Приходят люди на выставку Рериха, и такое изливается... И она не одна — много таких, кто далек от народного искусства и не понимает, как это страшно.

Мне подарили репродукцию картины Николая Константиновича Рериха, которая находится в Рижском музее. Там изображена старинная стена, за стеной — грешники. А на стене — Богородица: опустила широкий шарф, по нему грешники выбираются, и она их в рай отправляет. Апостол Петр хотел остановить Богородицу: «Что ты делаешь?» Тут подошел Бог и сказал: «Не трогай ее, пусть она делает свое дело». Такая глубокая мысль: каждый должен делать свое дело. Кто-то забыл, разучился чувствовать и понимать песни своей земли — а я напоминаю, учу их любить заново.

■ Корр.: Откуда вы родом?

□ Е.С.: Деревня, где я родилась, несколько раз переходила



Наша беседа с народной артисткой России, исполнительницей старинных народных песен Еленой САПОВОЙ состоялась после ее выступления на выставке картин Н. и С. Рерихов в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Рядом с удивительной картиной «Святогор Богатырь» звучала «Былина о Святогоре Богатыре», и лик «Ярослава Мудрого» словно вслушивался в древние песни Смоленской области... Эта энергетика, исходящая от живописи и пения, этот синтез двух искусств — изобразительного и вокального — были так органичны, так дополняли друг друга, что, казалось, уж в этот момент у певицы нет никаких проблем...

то в Ульяновскую область, то в Куйбышевскую, на границе мы оказались. Есть там село — Бряндино, сейчас оно разрушено сильно. В ту пору, когда начали укрупнять-разгонять колхозы, я и на свет появилась, там и жила до четырнадцати лет. Потом уехала на Урал, к старшей сестре. Два года в Уральском народном хоре пела, пока меня не приняли в Саратовскую консерваторию.

■ Корр.: В консерваторию вы попали, не заканчивая музыкального училища?

□ Е.С.: Да, это произошло случайно. Лев Львович Христиансен услышал меня на смотре художественной самодеятельности и предложил: «Я набираю людей, которые любят народную песню; давайте, как эксперимент, примем вас — это ничего, что без музыкального образования...» Я пела тогда песни из репертуара Руслановой. Была и своя песня: «Растет в Волгограде березка».

Мне казалось, что я очень хорошо пою, и публика меня хорошо принимала. Ну, а Христиансен заставил меня петь песни, которые я знала с детства, песни наших мест. «Вот сейчас и будем учиться по-настоящему петь русские песни», — сказал он. Настоящая народная песня — она ведь в небольшом диапазоне. Композиторы этот диапазон как бы расширяют, но это уже не народная манера: она требует иметь школу, ставить голос. К Христиансену я попала, уже изрядно испортив голос, и мы с ним начали с самых простых, небольшого диапазона, песен-упражнений. Он меня ругал: «Ты говоришь в одной манере, а поешь в другой; когда научишься петь, как говоришь, — это будет то, что надо».

■ Корр.: Но сейчас залы, акустика рассчитаны на мощный звук. Разве может человеческий голос справиться с огромными

пространствами современных залов?

□ Е.С.: Да, не для всякой сцены, не для всякого зала такая манера подходит. Я в Барнауле выступала, в маленьком уютном зальчике — раньше тем был драматический театр: балкончики, лепнина, и акустика такая, что каждый шепот слышно... А в Новосибирске, в Академгородке зал на тысячу человек, и что-то случилось с аппаратурой — я пела без микрофона. Я не обладаю громким голосом — представьте себе, как пелось в таком зале. Но народу было много. Сибиряки вообще душой болеют за народную культуру...

■ Корр.: В каких городах вы еще побывали?

□ Е.С.: В очень многих. Но я ездила по России, только по России.

■ Корр.: А в республиках? За рубежом?

□ Е.С.: Дальше меня «не пушш-шали»... Художественный руководитель нашей филармонии формирует бригаду артистов, скажем, в Ленинабад, всех из отпуска отзывает, а меня не берет: «Знаешь, Лен, мы боимся подставить тебя под удар. Не поймут там...» Я просила: «Попробуйте! Мало ли что...» А уж за рубеж-то меня и вовсе не пускают. Странно — когда я в Москве выступаю, все говорят: «Вам за рубежом надо выступать». Нет, чего-то бояться... А разве надо бояться подлинно русской манеры петь — наоборот, гордиться надо, что умеем, что не забыли!.. Я слышала ансамбль «Русская фантазия», он при какой-то советско-американской ассоциации состоит. Костюмы — блеск, шик, хохлома на сцене!.. Но русского там — одна пресловутая развесистая клюква... Людей мы уже испортили. Подаем русское как что-то блестящее, сверкающее — чтоб все ахали-охали. А мне больно за русскую песню, за все неглубокое, аляповатое, что выдается за наше народное искусство. Показуха... Для иностранцев специально сделано, как будто иностранцы не могут понять: что настоящее, что не

настоящее. Настоящая русская песня — это Глинкина, Трушина, Ольга Федосовна Сергеева... Вот мне пластинка попала в Абакане: «Музыкальный фольклор народов СССР» — это настоящий русский фольклор, просто чудо какое-то.

■ Корр.: Как возникла ваша книжка «На привольной стороне»?

□ Е.С.: Это еще моя консерваторская работа. В ней тексты песен и к каждой — вокальная строчка. И рассказ: откуда и как появилась та или иная песня. Там названы имена известных и неизвестных русских песенниц, сказительниц. Я сама никогда бы не осмелилась... В Москве, в издательстве «Советская Россия» тогдашний редактор Владимир Васильевич Танаков предложил: «Как вы смотрите на то, чтобы издать такую книжку?» А у меня была небольшая дипломная работа, вроде очерка, на эту тему. Так и получилась книжка.

■ Корр.: Но теперь вы записали и свою пластинку. Кстати, когда вы начали работать профессиональной певицей?

□ Е.С.: В 1972-м, после консерватории. Я попала в Свердловскую филармонию; была при ней тогда студия, где готовили певцов для народного хора, и мне дали группу ребят. Я готовила солистов, а оказалось, что нужно было готовить хористов. Солист — это совсем другое, понимаете? И я ушла в музыкальное училище. Первый же мой выпуск был раскритикован — дескать, поют мои ученики открытым звуком...

■ Корр.: Но вы же не для оперного театра их готовили?

□ Е.С.: Вот именно. В народном исполнительстве совершенно другая специфика пения. Я говорила, что надо петь, как в народе поют. Петь народные песни поставленным голосом можно — и поют, и прекрасно поют. Но это совсем другое!

■ Корр.: И вам нужно было доказывать это своим коллегам, педагогам-вокалистам?!

□ Е.С.: То-то и оно... Я и вообще-то не борец. А тут еще понимала: не заинтересован никто

в возрождении моей родной русской песни. Все хотят какого-то красивенького сурrogата, а у меня душа к другому лежит.

■ Корр.: А сегодня, спустя столько лет, вы не хотели бы вернуться к педагогической работе?

□ Е.С.: Нет, я уже так устала. Эта бесконечная, нелепая борьба... У меня даже дочь сейчас не хочет петь народные песни, и я не настаиваю. Сама прошла такие тернии, чтобы дойти до душ людей... Понимаете, мы очень много говорим: «Песня — душа народа, возродим народное искусство». Говорим, говорим, говорим... И ничего не делается. И я не знаю, от кого это зависит.

■ Корр.: Мы же принимаем картины Рериха, и осознаем — сколько положительного получаем от них. Разве не такое же воздействие оказывает песня — может, еще больше?

□ Е.С.: Я ехала как-то в поезде с экстрасенсом Валентиной Григорьевной Васильевой. Дорога длинная, целые сутки — и я пела... Она говорит: «Господи, какая огромная положительная энергетика от ваших песен, от слов, от словосочетаний, от сочетания слов с музыкой... Потрясающе, просто мороз по коже!..»

■ Корр.: Экстрасенсы это чувствуют?

□ Е.С.: Конечно! Вы знаете, например, что в Японии специально создаются клубы русской песни — японцы считают, что она благотворно влияет на психику человека.

■ Корр.: Я этого не знал. Я знаю другое: в Америке есть ассоциация русских балалаечников, и играют там не русские, а американцы — чистопородные, чистокровные американцы! Играют на русских балалайках. Похоже, нашим искусством увлекаются везде, кроме нас самих...

□ Е.С.: Я иногда жалею, что у человека так мало сил. Я могла бы петь с утра до вечера... Когда сняли про меня фильм «Колыбельная с куклой», меня спрашивали: «Ну, теперь вам, наверно, легче живется?» Ничего подобного, ничего подобного!.. Есть такой Михайловский завод, еще

недавно очень богатый завод. Как-то они пригласили братьев Заволокиных, тех, что телепередачи про гармонистов ведут, — заплатили им больше двадцати тысяч... Александру Стрельченко приглашают — пять или семь тысяч... А мои концерты организуют бесплатно, я не знаю — почему... Не скажу, что у меня громкое имя, но я часто выступаю по радио, телевидению, меня знают, и репертуар у меня «ни на кого» не похож... Ничего не могу понять.

■ Корр.: Значит, у нас в стране никто не выступает в таком жанре, с таким репертуаром: былины, заговоры, заклинания, притчи, плачи, причеты?..

□ Е.С.: Между делом скажу, что плачи и причеты — одно и то же. Есть еще свадебные песни, календарные, колыбельные... И если в сказах воплощалась история народа, то в притчах, в песнях — разум и наставления наших предков. Певцов «в народном плане» у нас тоже много, но у каждого СВОЙ репертуар. И у меня — СВОЙ. Есть совершенно изумительная исполнительница — Татьяна Синицына, вы слышали ее?

■ Корр.: Да, слышал не раз. Я даже был на конкурсе исполнителей в Москве, когда она стала лауреатом.

□ Е.С.: У нее совершенно изумительный голос — глубина какая!.. И голос мощный, и душа, душа!

■ Корр.: Но круг песен у нее действительно другой. Я вот не припомню, чтобы еще кто-то, как вы, сказывал былины...

□ Е.С.: Почему же, поют. Я слышала, как поют «Святогора Богатыря»... под рок, рок-ансамбль поет. При всем моем уважении к ансамблю Дмитрия Покровского, к Базурову — нельзя... Есть предел модернизированию русской песни.

■ Корр.: А нравится вам, Елена Андреевна, как поет Бичевская — ну, например, «Шумел камыш»? Как вы оцениваете ее исполнение?

□ Е.С.: Я не считаю, что спела она песню, как пела ее бабуш-

ка. Она спела ее, как Бичевская, и русского там совсем немного осталось. Что-то американское, что-то тирольское, все эти украшения... Ну, что ее, песню-то украшать?! Шукшин, помните, говорил: «Зачем украшать русскую песню, она и так прекрасна». Или Федор Абрамов, покойный: «Обработанные песни — что остриженное дерево». Песня шлифуется в народе.

■ Корр.: Вы тоже поете «Камыш...»?

□ Е.С.: На сцене — никогда. Пою иногда, с кем-то, для души, или в поездке гастрольной. В каждой деревне есть бабушки — мы все с ними перепоем, они всё помнят: и «Шумел камыш», и «На муромской дороге», и «Златые горы»... Эти бабушки-старушки по-другому поют.

■ Корр.: Так, может, имеет смысл вступить в полемику с Жанной Бичевской?

□ Е.С.: Я бы вступила с ней в полемику: она бы спела так, а я — иначе. Но сейчас трудно вступить в полемику.

■ Корр.: Почему? По-моему, сейчас как раз и полемизируем, со всеми и обр всем, сплошь и рядом?

□ Е.С.: Нет, думаю, что «правда» окажется на стороне Жанны Бичевской. Есть красота и красота, и отличить ее не каждый умеет. Красивость проще воспринять.

■ Корр.: Я знаю, что и с вами происходили ужасные для артиста случаи, когда в зале — ни одного человека. А были великолепные для вас встречи?

□ Е.С.: Были-были. Я помню Арти — местечко в Свердловской области — там совершенно чудные люди, которые с детьми занимаются русскими народными песнями. У них и уголочек есть, как русская изба: окошечки, задергущечки, прялка стоит, полотенца вышитые, с кружевами, висят... Старенькая двухэтажная школа, а в какой атмосфере дети растут! Надо видеть тех детей — какие глазенки невиданные!.. Я больше часу им пела, и они не шелохнулись. В конце они со мной про блоху запели: «Жила-

была одна блоха, она лечить была лиха...» После такого и жить хочется. Я им даже «Заклинание» Волошинское — помните? — рассказывала. Когда-то читала у Калугина Виктора Ильича — удивительный совершенно человек, он ведет передачи «Лицо Земли», о русском фольклоре; так он говорит, что детям мы стараемся что попроще давать, а то они будто не поймут. Нет, они способны все понимать.

■ Корр.: Если вам скажут, на выбор: полный зал на сто мест, или полный на тысячу — что вы выберете?

□ Е.С.: Конечно, на сто мест. Народное искусство — это всегда глаза в глаза, душа в душу. Вот сидит на концерте женщина, в окно смотрит, скука у нее на лице такая... все настроение у меня враз исчезает. А потом настроение: «Не-е-т, тут еще люди в зале сидят — я должна для них петь». На громадной сцене видишь только первый-второй ряд. Проектора еще врубили тебе в лицо — оглох, ослеп, ничего не видишь... Мне не надо прожектора, я всегда говорю, чтобы оставили в зале свет — я должна общаться с публикой, видеть лица.

■ Корр.: Елена Андреевна, что главное, на ваш взгляд, о чем надо говорить сегодня, касаясь ваших жанров, народных песен, их бытования?

□ Е.С.: Я даже затрудняюсь сказать — кроме боли в моей душе, ничего нет. Мой восторг перед народной песней и горечь за то, что люди не то что не способны — отучены воспринимать это величие народного творчества, народной культуры. Я понимаю, что народ от всего устал. Надо что-то другое дать людям — хотя бы крепкую надежду... А потом уже к душе пробиваться можно. Мы же русские, и душа у нас одна.

■ Корр.: Спасибо вам, Елена Андреевна, за разговор, за ваше мастерство.

Беседу вел Виктор ПОПОВ

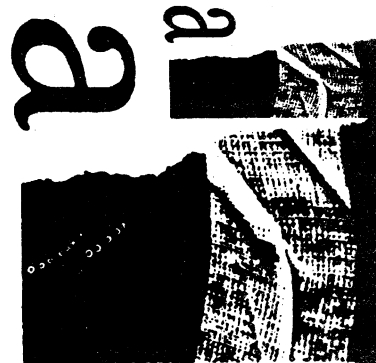


Иллюстратор ИЛЛЮЗИЙ

истории и культуре

североамериканских

индейских племён.



Мне не даёт покоя одно видение. Огромный орел черным крестом поднимается над соснами на горизонте. Он парит в нисходящих потоках утреннего ветра, скользит по светло-алым рассветным лучам. Он медленно приближается ко мне. А я, я стою на холме среди высокой травы, усыпанной сотнями, тысячами прозрачных бусин-росинок. Я дрожу от утренней прохлады и не могу оторвать глаз от Крылатого.

■ Я познакомился с Сашкой около трех лет назад. Он сам приехал ко мне. В его записной книжке было всего два адреса, выбирать ему особо не приходилось. Оба адреса для него тогда — сплетение букв и цифр, не более. Но почему-то он приехал именно ко мне.

У нас были общие знакомые в Новосибирске и Питере. В общем-то мы знали о существовании друг друга и раньше, даже виделись и разговаривали в Петербурге, где он жил.

— Меня зовут Кобров, Александр. Сашка... — зачем-то уточнил он при встрече.

Может быть, тогда он в первый раз назвал себя Сашкой. С тех пор так и повелось — наши общие знакомые звали его Бобром.

— Я поживу у тебя немного, а? Я домой еду, в Питер с Байкита. (Ну ты знаешь, это в Эвенкии.) А тут в поезде стащили сапоги и деньги... Ну, а как вы тут поживаете?

Как мы поживаем? Честно говоря, я был немного польщен. Я знал о Сашке достаточно, знал его авторитет среди друзей. Я всегда старался поставить себя на достойное место в любой иерархии отношений. И то, что мы сидели с Сашкой на одной кухне и пили кофе, было своеобразным признанием этого. Признанием моего статуса, как сейчас сказали бы. Я кончал в тот год школу и подчас смотрел на мир из школьной формы. Однако каждое лето я уезжал в Санкт-Петербург к друзьям-индеанистам, и тогда жизнь меняла свой цвет. Мы ходили в гости, сидели на знаменитых теперь питерских кухнях и пили чай. Мы вели беседы, играли чистую музыку, читали книги, философствовали и переводили с английского. Я открывал для себя новые земли, те, на которых как раз и жил Сашка.

Сашка принадлежал к поколению людей, родившихся в конце 50-х — начале 60-х. По образованию — художник. Из семьи художников. Знаете, такая старая петербургская интеллигенция.

■ В детстве у меня была мечта. Огромная, как небо. И — из множества цветов. Темно-красный — «багровое серебро», как я его называю, сочетался с розовым и светло-оранжевым. Желтый и лимонный вместе с бежевым и черным. Белый и темно-зеленый, а рядом золотистый и коричневый. Фанта-

стический красный, яркий и глубокий, как генеральское сукно, и синий — ровный и сильный, как безоблачное июльское небо. Все удивительно уживалось между собой. Но нет, я не называю вам мою мечту по имени. Пусть она останется со мной...

У Сашки тоже была мечта. Другое время — другие сны. Его мечта была других цветов, более реальных. Их было немного — три: синий, белый и неяркий красный. Да, еще немного черного. Вот в нем, в Сашке, так всегда: что-то от вологодского мужика уживалось с чем-то от бравого парня из Южной Dakoty. И мечта его также — то носилась по степям и стреляла, то пряталась в погреб и крестилась: «Свят, свят...» Но она продолжала жить, жить несмотря ни на что!

Как-то в детстве я заставил сестру сшить себе маленький американский флаг. Стукнуло так в голову, и все. Флаг был забавный, смешной. На нем не хватало одной красной полосы и нескольких звезд. Позже я использовал его как салфетку под старую стеклянную вазу. И даже не вспоминал об этом. Но Сашка разглядел. Это были его цвета, его порядок. Изрядную часть екатеринбургского вечера он потратил на то, чтобы объяснить мне мою «ошибку». А еще, дальше рассказал всю историю американского флага. Говорил он со знанием дела. Я слушал и не слишком понимал — к чему все это? Ну дался ему этот флаг! Позже, когда я нанес ему ответный визит, меня прямо

с порога встретил целый ряд миниатюрных флагов США — от времен войны Севера и Юга до флага сегодняшней Америки. Я вспомнил Сашкин рассказ у меня дома и вдруг понял! Я понял, что заставляло его так обстоятельно рассказывать об этом. Этот флаг был живым воплощением цветов его мечты.

На следующее лето я приехал в Петербург. Переночевав в гостинице, отправился к Сашке.

В его квартире я удивился дважды. Во-первых, тому, как этот широкоплечий, даже чуть толстоватый (настоящий Бобр) человек удивительно вписывался в небольшую заставленную шкафами и полками комнатку, половину которой к тому же он завалил ящиками. А еще удивился его рабочему столу. Вообще, мне порой кажется, что рабочий стол — топографическая карта души хозяина. Конечно же, если он не прибран к празднику... (Это же можно сказать и о широких подоконниках...) На Сашкином столе было все. Именно ВСЕ!

Тетрадки, раскрытые на необходимых страницах, распечатанные письма и незапечатанные бандероли, швейные принадлежности и расчеты бисерных узоров, пепельница. Пакетик американского табака, настолько душистого, что его медовый запах ощущался через полиэтилен. Были на этом столе и фотографии, на краю привинчены маленькие тисочки и наковаленка. Но главное — по всему столу, развернувшись во фронт, выстроились высокими небоскребами кофейные банки с бисером. Вот, кстати, о бисере.

Все дело в том, что кроме этюдника и нескольких больших папок на шифоньере, да двух-трех картин в доме (большинство не Сашкиной работы), я не заметил ничего, что связывало бы его с «художествами». Разве, что только фломастеры. Да ими он пользовался только для разметки цвета на бисерных расчетах. Однако миллиметровой бумаги с такими расчетами у него было достаточно. Он создавал на коже паразитической красоты искусство посредством этих мелких стеклянных бусинок.

Каждую бусинку нужно индивидуально надеть на иголку. Когда наберется необходимое количество — 5-8, а иногда — 9-12 штучек, их пришивают стежком. И так, снежок за стежком, получается горизонтальная полоска. Над ней еще полоска, а там еще и еще. Узоры ложатся ровно. Естественная выпуклость бисеринок и выгнутость стежка создает рельеф. А рядок над рядком выстраивают композицию. Работа эта требует усидчивости, внимания глаз, высокой степени эстетичности, чувства света и цвета. Духа, если хотите. Это действительно искусство.

Сашка, как и большинство моих знакомых, да и я сам, вышивал бисером в традициях американских индейцев. Оставалось только поражаться, как в его толстых пальцах так умело пляшет

иголка. И было в его виде что-то величественное, когда он, большой и тяжелый, склонялся над какой-нибудь мелкой сумочкой, и только иголка поблескивала в его пальцах.

Впрочем, нет, поблескивал еще и бисер. Прозрачный и мелкий, темно-синий и зеленый, розовый и перламутровый, белый — прозрачный, как капелька варенья. Это венецианский. Гладкий и блестящий, яркий и голубой, и красный, лимонный — это богеминский. Сашка умел складывать из этого узоры, наделять их духом, светом, заставляя чувствовать в них время, древность и первоестественность (кожа и стекло, их цвета и суть — очень древние). А затем умел продавать...

Вот этого я тогда не мог понять. Не могу понять и сейчас. Теперь, когда мои пальцы могут делать бисерные работы, наполненные светом и духом, когда я сам занят созданием этого, глубоко религиозного для индейцев, «священного», как они говорили, дела, я и сейчас не могу переступить через этот порог: продать... Я лучше так отдам.

Знаю, знаю. Сашка бы мне сказал на это следующее. Прежде всего он бы прищурил глаза, голос бы его слегка взвизгнул. Он начал бы речь со своего обычного «не понял...»

— Ну, не понял... Подожди, что ты сочинишь! Это ведь ясно — они (индейцы) и сами делали вещи на продажу. За это хорошо платят до сих пор. Ну, что ты считаешь, если я сделаю вот эту сумочку и продам ее, то я продам нечто большее, чем эта сумочка? Ну, не знаю... Священное искусство — оно вот, — он вскинет рукой на стенку над кроватью или на верхнюю полку стеллажа, где у него лежат вещи личного пользования. — Его-то я некоторым даже и посмотреть не дам. Они-то сделаны как надо — бисер, стиль, время, суть. Все подобрано. А здесь... Как считаешь?

— Я считать не умею...

То, что висит у Сашки на стенке — это две сумки. Две сумки для трубки. Для двух трубок. И сделаны они действительно исключительно. Как представить вам всю красоту этих маленьких стеклянных шариков, сложенных не просто в узоры, а в чувства, мысли, видения, символы? Это сложно. Для меня в большинстве оживают цвета мечты. Для Сашки, кстати, тоже. Бисерные работы, что он продавал иностранцам, приносили ему доход в валюте и косвенно вели его к тому, к чему он шел долгие годы...

Тогда я ушел. Вернулся к вечеру и ночевал у него. Наутро мы с Сашкой посетили ряд «общих знакомых» и почти везде, на стенке или в уголке, я замечал знакомый почерк картинок или фотографических рамок. Подарки от Сашки, память. Скоро она нам всем понадобится. И тут я вспомнил о двух его картинах у меня дома. Подарки. Память.

Он был весь в делах. Мой визит подождит к концу. Погода окончательно испортилась. Вода. Сверху и снизу. Дождь. Ветер гонит по Неве нескончаемую волну. Вода плещется о каменные берега. В городе дождь. Мокры лужи. Мокры кони Аничкова моста. Мокрая бронза отвечает зеленым. Мокрый блеск соборных куполов. Сонливость захлестывает город, и даже машины бегут медленнее.

Мы сидим в тепле. Пьем чай. Пьем чай, и Сашка курит. Он щурит глаза от синего табачного дыма и молчит. Я греюсь, обхватив теплую кружку чая. Сашка сидит на стуле, скрестив ноги. Пепел сигареты, прогорая, аккуратно сыпается в коробочку. Та уже полна пеплом и жжеными спичками.

На столе — стопки бумаг. Все те же чертежи, рисунки, письма. Расчеты для бисерных узоров. Стоят банки с разным бисером. Желтый, лимонный, розовый, красный, синий, голубой и зеленый — вся эта палитра создает настроение.

Синий дым поднимается вверх, исчезая среди книжных полок, где-то у потолка.

Я сижу на диване. За спиной, на стенке — простенький ковер. На нем висит сумочка для маленькой трубки, латунный гравированный крест. Фотографии в рамках. С краю, у шкафа — клепанные ремни. На толстой рамке картины — стебли полыни. Над изголовьем, где-то у потолка — мокасины. Старые, поношенные и потому дорогие. Привязаны за какой-то крючок.

Мы сидим и пьем чай.

Через полчаса я буду уже в метро. Через полчаса я засну под гудение электропоезда. Мне пора домой. Пролетели те дни, что я провёл здесь. Мой дом далеко. Нужно начать путь, путь к дому.

Мы пьем чай и молчим, как будто меня уже нет. И вот меня действительно нет. Только грязная чашка в мойке будет еще некоторое время напоминать о моем присутствии. О моем недавнем присутствии.

■ В очередной раз мы встретились с Сашкой только через полгода. Он был в каких-то синих спортивных штанах с красными лампасами, клетчатой рубашке, которую сам когда-то по краю обшивал зеленым сукном. Закатанные по локоть рукава открывали на левой руке поразительной красоты и простоты татуировку: большую Птицу Грома с распластанными крылами, узорной грудью, в окружении молний, стрекоз и еще чего-то. Сам делал. Почерк видно. От этого руки его были похожи на потемневший латунный гравированный крест, висевший в его комнатке на стене. На голове — черный стэтсон — широкополая высокая шляпа со шнурком. Темные очки. Америка, 20-е годы...

Единственно, что выдавало в нем принадлежность к «стране Ивановых», так это его длинные, почти до пояса русые волосы. Собранные сзади в длинную косу, наполовину заплетенную обстоятельно, с молитвой. Казалось, и жизнь его такая же солидная и обстоятельная, как эта коса, с молитвой. И также заплетена наполовину.

Тогда в Питере мы встретились с ним случайно — он пришел в те же гости, что и мы. Был круг веселых ребят. На чьих-то коленях дремали до срока губные гармоники и гитары.

Блеск в полутьме латунных пряжек на ремнях, клепок, бисера на тулях шляп, браслетах, сумках вдоль стен. Горький вкус крепкого чая на губах, лимона и табака. Смех и разговоры. Все это казалось фантастическим сном прошлого века. Внутри зашевелилось чувство, схожее, наверное, с тем, какое Колумб испытал, открыв Новый Свет. Я почувствовал, как и его, Александра Алексеевича, человека уже не молодого, своеобразного монстра, охватывало то же самое. Он то и дело прищуривал глаза:

— Парни, давайте кружки. Так, сколько нас — раз, два, три... — Профессионально разлив что-то из фляжки, он раздал нам кружки, оставив себе две из них — прислоненные друг к другу бочком. Пожалел разлучать.

— Ты хоть скажи, что это, — поинтересовался голос в углу.

— Все о' кей! «Огненная вода».

— А тебе тогда две кружки — не много ли? — спросил тот же голос.

— А это пятому, Великому Духу, — Александр Алексеевич сверкнул своими узкими глазками и неожиданно вылил содержимое одной из кружек на открытый огонь. В ту же секунду полыхнуло так, что все вздрогнуло. Пламя вскинулось ввысь и исчезло. Стенки кружки горели еще некоторое время, затем погасли. Вот это сила!

— Оу! Что это у тебя?

— Чистый спирт. Ну же, пейте!

Он настаивал на этом. Казалось, это было для него чрезвычайно важно. Видимо, так у него проявлялась черта национального характера. Черта русская, проклятая и восхваляемая. Реальная, как факт. Неотъемлемая часть «загадочной русской души». Даже в американском стэтсоне. «Сорок градусов тепла греют душу русскую».

Для Сашки это было еще и неотъемлемой чертой поколения. «Я пью, мне нравится вкус вина...» — Борис Гребенщиков. «Был бы только мой любимый ром — «Гавана Клуб» — Майк Науменко. Он был их поколения, волной одного с ними прилива.

Под утро он ушел. Через некоторое время я увидел его в открытой двери «волги»-такси. Он был в окружении американцев — одного писателя из Иллинойса и старика-индейца, вождя погасетов, откуда-то из Нью-Йорка. Показывал город. Сашка был все в тех же синих штанах и черной шляпе. В

России я видел его вроде как в последний раз.

■ Осенью, вернее, в конце августа, на старой, разбитой еще, наверное, со времен блокадных обстрелов, зато не коммунальной квартире моих знакомых, раздался телефонный звонок. Звонил тот самый писатель Смит из штата Иллинойс. Он-то и рассказал заключительную часть истории Иллюстратора Иллюзий, точнее, ее американское продолжение.

Сашка пытался устроить персональную выставку в Штатах. У него были какие-то «честно заработанные» доллары, но основную работу сделал, конечно же, Смит. И, надо сказать, работа эта была не из легких. Ну и что, что художник из России. Где их сейчас только нет! Да и работы-то его выполнены на каких-то бумажках — несолидно!

Но все-таки под эти «бумажки» Смит снял одну из Галерей Современного искусства, каких в США, надо понимать, достаточно. Там любят все необычное, с каким-нибудь изворотом. А у нашего друга, стоит сказать, манера рисовать была весьма и весьма необычная. Все — от цвета до композиции — иллюстрация его мечты, мечты, выросшей на русской почве. И потому воспринимать ее можно только зрительно. Я не уверен, смогу ли я передать вам все это на словах... попробую.

Еще с самых первых картин, которые он оставил у нас, в Екатеринбург, во мне кольнулось нечто ностальгическое. Что-то до боли знакомое и родное.

Однажды в детстве по неосторожности я поставил на скатерти большую кляксу. Капнул темно-фиолетовые, поблескивающие золотом чернила на белое поле, и растеклись-растянулись по волокнам сотни ручек-ножек забавного паучка. Мне понравилось. Милое получилось существо. Вскоре рядом появился еще один, протянувший первому руку дружбы. Глядишь, появился бы и третий, да взрослые не оценили моего творчества... И творческий процесс в области живописи закончился для меня надолго.

А вот для Сашки нет. И поехали теперь его «паучки» и концентрические, переходящие из цвета в цвет круги за рубеж. И ценили их там теперь за доллары. Что-то, а деньги он всегда умел делать, вспомнить хотя бы те же бирсовые сумочки.

Смит приглашал его на две недели. Но «паучки» принесли Сашке не только доллары. Они принесли ему успех. Смит прислал несколько газет, местную прессу, так сказать. Почти везде на первой полосе — фото до боли знакомых узких Сашкиных глазок. И все бы ничего, и можно было бы радоваться его успеху и его долларам, да...

— Он ни черта не делает — купил себе старенький «форд». Спит в нем. Постоянно пьет виски. Что мне с ним

делать? Я не знаю... — жаловался Смит.

Да откуда же тебе знать это?

Сашка, Сашка! Америка — страна мечты для подростков. Страна Джими Моррисона и «Металлики», страна Джимми Хендрикса и Элвиса Пресли, Оззи Осборна и «Рэд Бон». Страна Джорджа Вашингтона и Джорджа Буша, Шеридана и Кастера. Страна подростковой мечты. Только как ты вступишь в нее, когда тебе уже к тридцати?

Чую я, потонет твой Хрустальный корабль мечты. А ты превратишься из Хранителя Иллюзий в Иллюстратора Действительности. Последнее, что сказал Смит: «Сашка потерялся из виду — он на своем «форде» поехал покорять Америку». Да только такое чувство, будто он все еще по инерции чего-то ищет...

И еще одно видение.

Тот холм, куда некогда прилетал орел, укрыт пушистым снегом. Кажется, что снег только что лег, и небо остается тяжелым от серых туч. А они плывут по небу чинно и важно, словно олени важности. Северный ветер пронизывает насквозь. Он дает очищение. На холме — Всадник Декабря. Его конь, великоколенный белый жеребец, гарцует, то и дело встает на дыбы. Но Всадник поколебим. Он в белой одежде и волосы его белы. Они спускаются по плечам до пояса, и ветер колышет их. В его пальцах, унизанных серебряными кольцами, тонкий жезл. На жезле — перья орла. Белые с черными концами. Всадник Декабря смотрит некоторое время мне прямо в глаза, склонив голову набок. Затем вскидывает ее, волосы волнами разбегаются по спине. Белый жеребец уносит его к горизонту, не оставляя на снегу никаких следов. Там, где он только что скрылся, поперек всего неба встает радуга. И на морозе цвета этой радуги светятся особенно чисто.



Алан ВИННИНГТОН

ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Десятник Полье стоял на улице, дышал полной грудью и разглядывал хорошо знакомые очертания зданий, подлежащих сносу. Что такое? Откуда там может быть свет? Он закрыл глаза и открыл их вновь; сомнений нет: в окне четвертого этажа, где давно уже не хватало треугольного кусочка стекла, мерцал слабый свет, словно от свечи или карманного фонаря. Он пересек улицу и остановился в тени раскидистого дерева так, чтобы выходящие из бара не могли заметить его.

Между темным расплывчатым силуэтом обветшалого здания и приметным куполом церкви на сумеречном небе парили светлые облака. Это было старое кирпичное строение, которое много раз ремонтировали. Большие стальные крепления указывали места, где лишь прочность металлических накладок удерживала стены от разрушения. Проход к дому был перегороден проволокой, на которой висела табличка «Вход воспрещен».

Дверь бара неожиданно открылась и из нее вышли несколько рабочих-строителей — навеселе, громко переговариваясь, перебрасываясь шутками. Прошло несколько минут, пока вышедшие из бара, распрощавшись друг с другом, разошлись, потом снова вернулись, чтобы обменяться еще парой слов — и наконец все стихло. Свет в окне больше не появлялся.

Дверь старого дома тихонько скрипнула раз, другой, затем рывком открылась с сильным треском. В темном проеме появилась высокая фигура, спустилась со ступенек и стала удаляться по скрипучему песку. Полье последовал за ней.

Это был крупный, сильный мужчина. Несмотря на теплую погоду, он был в пальто. И, по-видимому, был знаком с местностью: двигаясь только по переулкам, он вскоре достиг небольшого бара возле Центрального вокзала. Полье тоже любил заглядывать в этот бар. Войдя вслед за незнакомцем, он громко поздоровался с хозяином, заказал большую кружку пива и подошел к стойке, от которой в стенном зеркале можно было хорошо видеть незнакомца.

Тот сидел в одиночестве за угловым столиком. Когда подошла официантка, он заказал двойное виски. Его одежда была достаточно приличной и ничем не выделялась: воротничок с галстуком, пальто из дорогой ткани. У него была импозантная внешность, высокий рост, широкие плечи, густые седеющие волосы. Ему могло быть и сорок лет, и пятьдесят пять. Лицо было

покрыто многочисленными морщинами, свидетельствовавшими о жизненном опыте и об уверенности в себе — открытое лицо, располагающее с первого взгляда, полное юмора, по которому, однако, можно было предположить, что человек многое пережил. Когда принесли виски, он выпил одним духом, велел повторить и отсутствующим взглядом уставился в пол.

Полье понес свою кружку с пивом к столику в углу.

— Вы позволите? — осведомился он. Незнакомец даже не поднял глаз. — Извините, — настойчиво продолжал Полье, — вам не помешает, если я сяду здесь?

— Что? А? — незнакомец поднял глаза и осмотрелся вокруг, то ли соображая, то ли сердясь. — Но ведь здесь полно свободных столиков! — Приятный голос, обычная, естественная манера разговора.

Полье, продолжая стоять, проговорил:

— Я отвечаю за безопасность при сносе домов по соседству. Я видел вас, когда вы выходили из одного дома. Туда не разрешается заходить. Там даже висит табличка, запрещающая вход.

Эта речь была слишком длинна для Полье; когда он умолк, нижняя губа продолжала воинственно оттопыриваться. Незнакомец смерил Полье взглядом сверху донизу:

— А какой вред я нанес этим? Ведь там уже никто не живет. И там нечего украсть.

Полье уселся за стол напротив него:

— Этот дом простоит недолго. Его скоро снесут.

— Знаю. Ну и что?

— Мой милый, мне не нравится ваш тон. Возможно, вы не знаете, что из-за церкви по соседству мы применяем самые слабые взрывные заряды, что сносимые здания предварительно разбираются и что входить в них опасно. Очень опасно.

— Но ведь рискую-то я! — добродушно улыбнулся незнакомец.

— И я тоже. Если с вами что-нибудь случится, у меня будут неприятности. Могут даже выгнать с работы.

— Гм... Об этом я и вправду не подумал. Я никому не хочу причинять неприятностей. Очень жаль. Девушка! — позвал он проходившую официантку. — Вы сохраните верность пиву или выпьете со мной виски? — И, не дождавшись от Полье ответа, заказал еще два двойных виски. — Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается.

Он, видимо, решил, что вопрос уже исчерпан.

— А вы нашли то, что искали? — спросил Полье равнодушным голосом. Однако глаза его выражали заинтересованность.

— Что можно найти в этой развалюхе? — Незнакомец невинно разглядывал Полье, и лишь в глубине его зрачков мерцало отражение легкой усмешки.

— А что, вы, собственно, делали в «этой развалюхе»? Вы могли там наверху что-нибудь натворить, а я должен отвечать, понимаете? — непроизвольно повысил голос Полье.

— А если я не скажу вам?

— Хозяин этого заведения, — кивнул Полье на стойку, — мой друг. Стоит мне сказать ему, и он позовет полицию. Я нахожу ваше поведение весьма подозрительным, и полиция согласится с этим.

Официантка принесла виски. Седовласый продолжал молча сидеть, прикрывая лицо руками. Когда он убрал их, глаза были полны слез, но он гордо поднял голову:

— К чертям! — Его голос дрожал, но тон был пренебрежительным. — Мне противно удовлетворять ваше праздное любопытство, но я не желаю иметь дела с полицией. — И он опять как бы замкнулся в себе. Потом вдруг спросил:

— Любили ли вы когда-нибудь?

— Конечно, — кивнул Полье. — Я женат, у нас двое детей.

— Нет, я имею в виду страстную, пылкую любовь. Любовь до безрассудства, до сумасшествия. Так, чтобы каждая минута врозь казалась годом, проведенным в аду. Шекспир знал, что такое любовь, когда описывал чувства Ромео и Джульетты.

Это было для Полье чересчур возвышенным.

— Вы, конечно, шутили, когда сказали, что я мог там наверху натворить что-то, — продолжал незнакомец. — Но однажды я действительно убил в этой комнате человека, хотя и не преднамеренно. Это было пятнадцать лет назад. Больше. Пятнадцать лет и семьдесят три дня назад. Я получил за это двадцать лет тюрьмы и только вчера освобожден условно с испытательным сроком. Теперь вы понимаете, почему я не хочу никаких дел с полицией. Вход в здание вопреки запрещению — это нарушение закона. Нарушение не-

значительное, но... Это значит, что я могу не выдержать испытательного срока. Было бы иронией судьбы, не правда ли, вновь загреметь на пять лет за решетку — только потому, что я за тосковал, пошел в эту убогую комнатку, где я когда-то пережил единственные счастливые дни в моей жизни. — И он поманил проходившую мимо официантку.

— Теперь моя очередь, — возразил Полье и заказал еще два виски.

— Мне было тридцать восемь, — снова продолжил свой рассказ незнакомец, — а ей девятнадцать. Ее звали Молли. Ах, какая это была женщина: высокая, стройная, привлекательная, интеллигентная, зрелая уже в том возрасте, с каштановыми волосами, глубоким грудным голосом — женщина, какую нечасто можно встретить на этом свете. И она любила меня — непостижимо, но это так. Я был у нее первым мужчиной, и это всегда глубоко привязывает женщину; особенно глубоко, когда любит взрослый мужчина. Мы были словно созданы друг для друга. Почти два года мы жили как муж и жена. Без согласия отца она не могла официально выйти за меня до достижения двадцати одного года. Ее мать уже умерла, а отец не хотел давать согласия: ведь я был только на два года моложе него — и это его особенно раздражало. Я нередко бывал без работы — и вполне понимаю его отношение. Молли знала, что если



мы поженимся, когда ей исполнится двадцать один, отец лишит ее наследства, но это не оставило ее. Мы жили в этой жалкой комнатухе на четвертом этаже, вместе с другими жильцами пользовались водопроводным краном и закутком-уборной на лестничной площадке, готовили на портативной газовой плитке, нередко голодали, но были счастливы — счастливее, чем ее отец со всеми его деньгами.

Он поднял свой бокал.

— Выпьем, — предложил он. — Выпьем не за счастье, ибо тот, кто вознесен сегодня, может быть брошен в бездну завтра. Выпьем за благополучие, за удовлетворенность, за мелкобуржуазное самодовольство.

Что бы ни подумал по этому поводу Полье, но он поднял свой бокал. Они выпили, и поток воспоминаний полился дальше.

— Итак, друг мой, если бы я вообще верил в божественное провидение, то поверил бы, что боги сознательно вознесли нас с нашими надеждами и радостями, прежде чем ввергнуть в пучину бедствия. Один из счастливейших дней моей жизни завершился вечером, разбившим всю дальнейшую жизнь. В то время я работал уже целую неделю и имел деньги. Мой работодатель объявил, что я могу работать у него еще неделю, и, возможно, получу постоянное место. На следующий день Молли должно было исполниться двадцать один — и мы могли пожениться. У нас было настоящее пиршество: бифштексы, чудный сыр, фрукты, вино. Потом она положила голову мне на колени, и мы стали строить дальнейшие планы. И тогда...

Он допил свой бокал и тяжело вздохнул, словно бы с горечью вспоминая, что было потом, или с трудом облекая эти воспоминания в словесную форму.

— В дверь постучали; это бывало не часто. На пороге стоял ее отец и кипел от гнева. Он стремительно вошел, презрительно окинул взглядом нашу убогую комнатуху и велел Молли одеваться и следовать за ним. Она отказывалась, пытаясь найти удобный предлог. Он не желал говорить с нами о чем бы то ни было. То обстоятельство, что через несколько часов дочь будет уже неподвластна ему, сводило его с ума. Вероятно, он долго не находил себе места, пока решился явиться к нам.

Незнакомец оглянулся в поисках официантки. Потом продолжал:

— Он попытался тащить ее силой. Я заступил ему дорогу. Это был ее отец, и я вовсе не собирался причинять ему зла. Он выпустил ее руку и схватил молоток, лежавший на одном из ящиков, служивших нам мебелью. Обороняясь, я ударил его в подбородок — нет, не изо всех сил, но он все же упал и, падая, ударился затылком о край другого ящика. Это был ужасный удар! Из рассеченного черепа по выпавшему из его руки молотку потекла кровь. Он был мертв.

Полье поманил появившуюся официантку: еще два виски.

— Мы рассказали полиции все, как было, но над нами только посмеялись. И не поверили ни одному нашему слову. На молотке, который я, как идиот, поднял с пола, нашли отпечатки моих пальцев. Меня обвинили в убийстве и осудили на двадцать лет. Молли за пособничество — на два года. Вот вам моя история.

Он умолк и снова опустил голову на руки. Несколько минут спустя Полье счел возможным нарушить молчание:

— Ну, а девушка? — спросил он. — Куда делась девушка через два года? Не захотела ждать?

— Это было даже не два года, а восемнадцать месяцев, — отозвался незнакомец. — Остальное ей простили. Конечно, она не стала ждать. После суда нам дали несколько минут, чтобы попрощаться. Я сказал, что когда она освободится, пусть уедет, забудет меня и начнет новую жизнь. Между нами все кончено. Она умоляла меня, говорила, что готова ждать хоть сорок лет... Но я-то знал жизнь лучше. Я говорил, что мы оба не можем жить так дальше. Я — понятно, я в тюрьме. А она... мне пришлось бы каждый день и каждый час думать о том, что она делает, как живет, с кем делит постель... нет, уж лучше сразу. — Он выпил залпом один из принесенных бокалов виски и подвинул к Полье другой.

— Тут есть о чем поразмыслить, — задумчиво произнес Полье.

— Но это еще не все, — подхватил незнакомец. — Она все же получила наследство своего отца. Выйдя из тюрьмы, она нашла способ передать мне записку: отправляется в Южную Америку, чтобы начать новую жизнь. И перевела в Парижский банк на мое имя деньги. «Это моя последняя воля», — так кончалось ее письмо. «Я всегда буду любить тебя, Молли». — Из уголка его глаза выкатилась крупная слеза. Он незаметно утер ее и выругался: — К чертям!

Полье отвернулся и стал шумно сморкаться.

— Вот так оно было. Вы понимаете, я просто должен был еще раз прийти в тот дом. Кто может объяснить такое желание? Будучи в тюрьме, я прочитал в газете, что все эти старые дома будут снесены — все, кроме церкви. К счастью, за хорошее поведение в тюрьме мне условно сократили срок. Вчера я был освобожден. А когда я в наступающих сумерках остановился возле дома и посмотрел туда, наверх, я не мог удержаться от попытки подняться и взглянуть на комнату, в которой провел единственные счастливые дни моей жизни. Да и кто бы мог удержаться?

Наступившее молчание через минуту нарушил Полье:

— А она сообщила, сколько денег положила на ваше имя?

— Нет. Сообщила лишь, что их хватит на пару лет безбедной жизни.

Это произвело на Полье впечатление.

— Может, это и не стоит пятнадцати лет, — заметил он, — но все же лучше, чем оказаться совсем на мели.

— Самое глупое, что деньги-то в Париже, — словно бы размышляя вслух, проговорил незнакомец. — А в кармане у меня жалкие гроши, которые выдали при освобождении. Расплатиться здесь за выпивку — и только. Придется искать какую-нибудь работу, чтобы собрать на поезд до Парижа. У меня ведь здесь ни души знакомой; да и кто поверит в долг, даже если обещаю отдать впятеро?

Полье с трудом преодолевал борьбу с самим собой.

— Как знать, может, я и поверю, — неуверенно проговорил он. — Сегодня как раз была получка. Но откуда я знаю, что вы вообще вернетесь?

Незнакомец окинул его понимающим взглядом. Однако видно было, что самолюбие его задето.

— А я и не ожидал, что вы мне поверите, таков уж этот проклятый недоверчивый мир. — С этими словами он протянул руку ладонью кверху. На безымянном пальце тускло блеснуло кольцо.

— Это одно из наших обручальных колец. Я оставлю его вам в качестве залога. И верну в пять раз больше, чем вы мне одолжите. Видите ли, — продолжал он, видя, что Полье уже почти согласен, — кольцо, конечно, стоит этих денег; но независимо от этого я скорее расстанусь с жизнью, чем с кольцом, которое мне подарила Молли. Мне будет тяжело остаться без кольца даже на один день. — Он говорил спокойно, с чувством собственного достоинства. Потом умолк, давая Полье время обдумать ситуацию, и закончил: — Итак, я даю вам расписку на пятикратную сумму; вы мне — обязательство вернуть кольцо. Послезавтра вечером мы встретимся здесь же; вы получите деньги, а я — кольцо. Что может быть честнее?

Полье вытащил конверт с получкой и отсчитал половину своего месячного заработка.

— Лучше, чтобы у вас на всякий случай было чуть больше денег, — заметил он. Незнакомец тщательно пересчитал деньги, увеличил сумму впятеро, написал расписку и снял с пальца кольцо.

— Я хочу убедиться, что вы его надежно спрячете, — заявил он. — И упаси боже, не потеряйте его. — Он подозвал было официантку, чтобы рассчитаться, но Полье остановил его:

— Не беспокойтесь, это пойдет за мой счет. Итак, до четверга, — прибавил он, когда незнакомец поднялся. Затем Полье увидел в окно, как его седовласый собеседник спокойным шагом направился к вокзалу.

Теперь Полье охватило сомнение: он никак не мог припомнить, было ли на пальце незнакомца кольцо в момент встречи. Но он почти сразу же успокоился: должно же оно было быть, ведь чудес не бывает!

На улице перед баром внимание Полье привлек киоск, где продавали горячие сосиски. После виски требовалась закуска. Пока десятник ел, продавец комментировал сообщение из вечерней газеты, которую он держал в руках.

— Один ловкач сбежал из тюрьмы... Спокойно вышел через ворота в белом врачебном халате... Вот прохвост!

— Ну, в этом наряде он далеко не уйдет, — меланхолически отозвался Полье, прожевывая сосиску.

— ... затем он забрался в какой-то дом и подобрал себе приличную одежку, — продолжал продавец. — Теперь ему уже не нужно будет работать, — с завистью заметил он, — унес на четверть миллиона неоправленных бриллиантов... Получил за это пять лет. С тех пор прошло уже два года, но бриллиантов так и не нашли... Небось, хорошо припрятал... А теперь заберет их, и поминай, как звали... Да, и теперь все границы будут охраняться...

Десятник механически кивнул, не переставая жевать. Это его не интересовало.

— ... Объявлена награда в двадцать пять тысяч, — продолжал киоскер. — Сообщается, что население просят оказать содействие в задержании... Что у него нет денег, и он, вероятно, постарается раздобыть их. Просят сообщить, если кто его видел. Пятьдесят один год, высокий, седой, находчив в разговоре, внушает доверие... Здесь даже есть его фото...

— Покажите-ка.

Ну конечно, это был он. Сомнений нет. Именно он изображен на первой странице под заголовком «Мошенник бежал из тюрьмы».

Полье бросил недоодевшую сосиску и побегал на вокзал. Последний поезд на Париж только что прошел. В следующую четверть часа десятник убедился, что на вокзале незнакомца нет. Разумеется, УЖЕ нет.

За то, что он мог бы сообщить, полиция не похвалила бы его. Полье решил не делать из себя посмешища.

Он остановился под фонарем. Кольцо оказалось грубой подделкой. Полье швырнул его в урну.

Предстоял еще неприятный разговор с женой. От месячной зарплаты оставалась половина — это требовало объяснения. Но, конечно, ни жена, ни кто-либо другой ничего не узнают о двадцати пяти тысячах, ускользнувших у него из рук.

СУПЕРЭХОЛОТ ДЕЛЬФИНОВ

Ушами «видят» не только летучие мыши. Необычайными способностями обладают также киты, а в особенности дельфины. Они располагают, например, двумя «передатчиками», с помощью которых ориентируются в далеких морских просторах, передавая сигналы.



Одним из таких передатчиков является эхолот. Он испускает пронзительные звуки, которые походят в воде на острый стук. Экипажи подводных лодок знают и боятся подобных звуков.

Устройства подобного рода, сконструированные человеком, передают сигналы всегда равномерно. Дельфины же «разработали» более совершенную технику. Равномерные звуки, являющиеся последним словом техники в эхолотах, построенных человеком, дельфины используют только тогда, когда хотят получить общую ориентировку в пространстве. Однако если они воспринимают только первое эхо, то не удовлетворяются этим первым известием — они хотят слышать подробности. И начинают передавать сигналы все быстрее, стук нарастает, переходит в скрип плохо смазанных дверей, в звук механической пилы, вгрызающейся в дерево.

Дельфин «работает», в отличие от эхолотов и сонаров, построенных человеком, не только на одной волне, а в широком диапазоне, который охваты-

вает как низкие, так и ультравысокие звуки. Ультразвуки отчетливо отличаются при близкой ориентации от всех посторонних шумов, которыми заполнены, казалось бы, безмолвные глубины морей.

Главными глушителями «передатчиками» являются не превышающие размеры человеческого палец креветки, которые собираются в огромных количествах. Пожирая планктон, они производят своими челюстями такой ужасный шум, что дельфины в этих районах без ультразвуков полностью потеряли бы ориентацию и не отличили бы ни приятеля, ни врага, ни добычи.

Впрочем, могут ли дельфины отличить друга от врага, иного дельфина от акулы или кита? Профессор Вуд провел в известном океанариуме Мэриленд в США интересный эксперимент. В большой бассейн, разделенный на две части проволочной сеткой, слева и справа в сетке оставили узкие просветы, в которые мог проскользнуть только один дельфин. К этому добавили еще одну ловушку: оба отверстия в сетке могли попеременно закрываться плексигласовой плитой. Вдобавок и воду замутили, чтобы затруднить зрительную ориентировку.

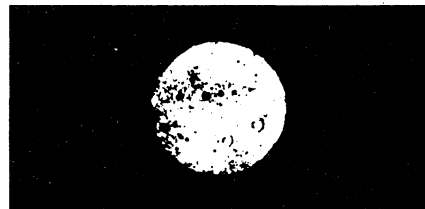
Несмотря на это, дельфины молниеносно и уверенно проплывали через нужное отверстие, ни разу ошибочно не приблизившись к отверстию, закрытому плитой из плексигласа. Так что дельфины могут распознать рыбу по ее контурам, отличить кита от акулы.

Д. ЭЙДЕЛЬМАН

сятков сантиметров и более. От 30 до 70 тысяч из них, считают ученые, представляют реальную опасность для космонавтов. Дело в том, что при скорости столкновения 10 километров в секунду обломок размером всего в один сантиметр обладает энергией, равной той, что выделяется при взрыве ручной гранаты, и может пробить корпус орбитальной станции.

Ежегодно и на нашу планету падает каменный дождь в 50000 метеоритов — подсчитали ученые-геологи: на миллион квадратных километров земной поверхности ежегодно выпадает более ста метеоритов.

Самый большой на памяти человечества метеорит упал в долине Альенде (северная часть Центральной Мексики). Подлетая к Земле, он взорвался в атмосфере и «окропил» метеоритным дождем полосу длиной 50 километров. Удалось собрать около 2000 килограммов метеоритных осколков, крупнейший из них весил 110 кг.



В американском естественно-научном музее в Нью-Йорке находится знаменитый «Анихито» — второй по весу железный метеорит, найденный на нашей планете. Он весит 34 тонны, и каждый посетитель музея старается потрогать его руками. Он упал в Гренландии на мысе Йорк около десяти тысяч лет назад.

Дмитрий ЯКОВЛЕВ

КЛУБЫ ЧУДАКОВ

«Клубомания» разгорелась в начале нашего столетия.

Прошли времена, когда привилегия быть клубменом распространялась только на высокородных джентльменов. Теперь клубы насчитываются сотнями и тысячами.

Согласно энциклопедическому толкованию, клуб — добровольная организация, объединяющая группы людей с определенными интересами. Среди обилия клубов есть такие, что не назвать иначе, как клубы чудаков.

В нью-йоркском клубе под названием «Институт исследования истории Деда Мороза» собирают информацию об этом персонаже, стараясь установить, кто, где и когда был Дедом Морозом N 1. Члены общества «Плоская Земля» убеждены, что наша планета

СЮРПРИЗЫ С НЕБА

Житель австрийской деревни Дидерсдорф Алоиз Мури, находясь у своего дома, неожиданно услышал звук сильного удара о землю. Выйдя на улицу, он с удивлением обнаружил большую глыбу льда, врезавшуюся на несколько сантиметров в почву. А термометр в это время показывал 15 градусов выше нуля... Очевидно, ледяной «метеорит» сорвался с пролетающего самолета, который на большой высоте был охвачен обледенением.

Что только не падает с неба...

Угрозу представляют вращающиеся вокруг Земли несколько сотен тысяч остатков спутников, или ракет-носителей размером от миллиметров до де-

вовсе не шар, а что-то вроде огромной тарелки. В том же Нью-Йорке есть клуб противников суеверий: 13 числа каждого месяца члены его собираются в отеле на 13 этаже в номере 1313, где накрыты столы на 13 приборов каждый и тринадцать булок разрезают на 13 ломтей. 13 раз произносят тосты, а заседание начинается с битья тринадцати зеркал...

Один из лондонских клубов не признает научно-технического прогресса: в его помещениях горят только свечи, нет телефона, телевизора, радио и даже в беседах запрещается упоминать о технических новинках и научных открытиях.

Известна своими клубами чудаков Германия. Например, 5 мая 1961 года там был создан «Первый в мире клуб больших носов», который насчитывает 218 членов. Длина носа кандидата должна быть не менее шести и ширина — не менее четырех сантиметров — условие неукоснительное даже для представительниц прекрасного пола. Например, вице-президент клуба Марианна Отто обладает носиком длиной в 77 миллиметров...

Имеется и «Клуб плешивых» со своим «стандартом»: лысина на темени должна быть «не менее ладони женской руки», залысины на висках в счет не принимаются.

В «Клубе высоких германцев» клубмены собираются не только ради общения, но и решают разные проблемы: например, чтобы одежду и обувь для «гулливеров» можно было покупать в дешевых магазинах, а не шить на заказ.

Тридцать мужчин и женщин основали клуб «Несси», поставив себе цель защищать интересы легендарного чудовища, будто бы обитает в шотландском озере Лох-Несс. Они доказывают маловерам, что Несси не выдумка, а реальное существо. «Нессисты» регулярно посещают Шотландию и предпринимают попытки выманить из глубин озера своего доисторического любимца. Пока без результатов. Однако члены клуба не теряют надежды и придумывают все новые приманки. Уже были использованы: мед, зеленый горошек, рисовая каша, вареный картофель, салат...

В. РОЦАХОВСКИЙ.

ГРАДИНА-РЕКОРДСМЕНКА

Если полистать справочник по климату, то можно узнать, что на Урале наибольшее число дней с градом в год 6-7, что, в общем, ненамного уступает таким наиболее градобойным районам в мире, как США и Кавказ.

Но зато о величине уральского гра-

да можно вести разговор особый. Яркое впечатление о крупном градопаде остается после чтения рассказа А. П. Кожевникова «Описание о бывшем граде 26 июля 1882 г. в 7 верстах от Екатеринбурга». «С утра было ясно, — пишет он. — После полудня появились тучи... Когда настал второй раскат грома (это было в 3,5 часа) ударил сильный град не совсем так мелкий, в размере полдюйма, но вскоре пошел крупнее, и быстро увеличивавшийся в объеме, догнав диаметра куриного яйца. А под конец грозы появился град какой-то небывалой величины и вида, превратившегося в кистенеобразную фигуру... Я набрал этого града и привез домой, взвесил: некоторые градины оказались весом более двух фунтов. (Стало быть, градины весили около одного килограмма! — З. Х.). Падение града продолжалось не более 10 минут, а потом злополучная туча пошла вперед к югу. В данный момент я едва не сделался жертвой этого странного явления, так что ком града, павший мне в лицо и нанесящий значительное поражение, и я едва мог сохраниться под стоящею сосной. Бывшая со мною лошадь в то же время испытывала удары града, была на привязи под ветвями сосны, и когда градом отбило ветви, тогда градины стали касаться лошади; жалкое животное не могло переносить равнодушно — и ревело каким-то неестественным голосом (от боли и страха), совершенно не похожим на визг лошади. А также и экипаж мой не сохранился от этой кары и был пробит градом во многих местах... Вообще, когда остановился град, то в лесу картина была страшная! — Много поломана лесу».

Далеко не каждому в жизни случается быть очевидцем выпадения очень крупного града. Автор этих строк также попадал под крупные градины весом 150-200 граммов. Воспоминание не из приятных!

В том же, 1882 году некоторые жители Камышлова были очевидцами выпадения отдельных градин весом 4,1 кг! Об этом писала газета «Екатеринбургская неделя», (N 36, от 15 сентября 1882 г.): «В воскресенье, 8 августа бушевала гроза с сильным проливным дождем. Град выпал в величину куриного яйца. Была найдена одна огромная градина, достигавшая 10 ф. веса, что — нечто небывалое». 10 фунтов! Ведь это — 4,1 кг.

Сомнительно? Но вот сообщение «Крестьянской газеты» (г. Свердловск) от 19 июля 1924 г.: «В Челябинском округе выпал опустошительный град. Убытки от этого стихийного бедствия громадны. Уничтожена значительная площадь озимых и яровых хлебов, много погибло птицы и мелкого скота, пострадал и крупный. В с. Салтаево пришиблена в хребет корова и совершенно искалечена лошадь, получившая в круп и у хвоста рану длиною в четверть аршина (около 18 см — З. Х.). Величина града местами была с куриное яйцо, а в том же Салтаево четвертая

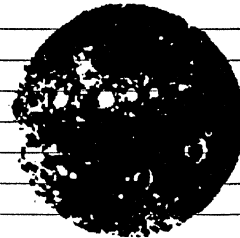
часть разбившейся о камни градины была в полтора раза больше кулака». Стало быть, и в этом случае вес градины составлял около 4 кг (в пересчете на то, что каждая четвертая часть градины «в полтора раза больше кулака» соответствовала массе около 1 кг). Это не градины, а ледяные глыбы! По данным метеорологических наблюдений, газетных и других литературных источников нам известны сведения еще о пяти случаях выпадения крупного града на Урале весом 300-400 граммов.

В научно-популярных книгах можно встретить утверждение о том, что наибольшей градиной в мире является та, которую нашли 6 июля 1958 г. в с. Аничкулаке Ставропольского края, ее вес — 2,2 кг. В марте 1961 г. в северной Индии градина весом 3 кг убила слона, и второй случай, когда при граде, выпавшем в апреле 1981 г., в Китае, отдельные градины достигали 7 кг.

Таким образом, есть основание считать, что в нашей стране рекордной градиной является та, что выпала в районе Камышлова Свердловской области чуть более века назад — 20 августа 1882 г. весом 4,1 кг и уступает она лишь семикилограммовым градинам, выпавшим в Китае в 1981 г.

Тяжелые травмы людей, крупного рогатого скота, гибель домашних и лесных птиц, выбитые стекла и поломанные рамы в десятках, а иногда и сотнях домов, опустошенные поля, сады и огороды, тяжело «травмированный» лес — вот неполный перечень бед, которые приносит крупный град. Человек, если он не застигнут врасплох на открытом месте, может себя укрыть от града, и частично укрыть домашнюю птицу и скот, в остальном — он бессилен. Правда, существуют противоградовые ракетные и зенитные установки, с помощью которых успешно вводятся химические реагенты в переохлажденные облака для стимулирования заблаговременной кристаллизации влаги и тем самым — предотвращения града. Но, к сожалению, использовать активную противоградовую борьбу далеко не везде целесообразно по экономическим соображениям.

3. ХАЛЕВИЦКИЙ



Светлана ХЛЫНОВА
(Рошани)

Такая разная РЕКХА

«Радж Капур, Радж Капур, посмотри на этих дур!» Эту незамысловатую частушку, посвященную индоманам всех времен и народов, я вспоминала все чаще, по мере того, как приходили отклики на мою статью («А я люблю индийское кино...», У.С. N1 за 1992 г.). Таких же «чокнутых», как я, оказалось довольно много. За прошедшее после публикации время в редакцию пришло более 500 писем из разных уголков России. Я была польщена тем, что ее заметили даже в теперешней «загранице».

Разбирая почту, я с самого начала взяла за правило делить письма на три группы.

К первой относились письма людей, которые просили либо редакцию, либо лично меня выслать им фотографии, открытки с любимым актером или актрисой, а то и кассету с записями песен из понравившегося кинофильма. Им я могу посоветовать только одно — внимательно перечитайте статью. Цены, которые я указала там, во-первых, не служат преискурantom предлагаемых услуг, а даны для примера, во-вторых, как понимаете, они давно уже подскочили в 10, а то и в 20 раз. Инфляция заметна и здесь. Поэтому на такие письма я не отвечала, благо их было не так много.

Ко второй группе я отнесла интересные письма. Это чаще всего были объемные по размеру послания, в которых содержались интересные высказывания или пожелания. С их авторами я завязала, надеюсь, — постоянную переписку. И, наконец, письма типа «вышлите, пожалуйста, адрес». Сколько хватало сил и времени — постаралась помочь.

Были, конечно, и курьезные письма. Одна девушка, например, сетуя на строгость родителей, просила заняться ее спонсированием — высылать каждый месяц по двадцать пять рублей «на Индию». Другая прислала в редакцию детские страшилки, переделанные на индийский лад. Еще какой-то молодой человек попросил выслать ему магнитофонные записи музыки из всех индийских фильмов, демонстрировавшихся в нашей стране. Комментарию здесь излишни.

Ну, а вообще, я очень рада, что вы откликнулись. Огромное вам всем спасибо!

И сегодня на суд читателей предлагаю материал о суперзвезде индийского кинематографа Рекхе, написанный на основе публикаций в различных изданиях. О ней упоминалось почти в каждом письме. Понравится — расскажу и о других...



Рекха, а точнее Бханурекха, это ее полное имя, родилась 10 октября 1954 года в городе Мадрасе. Ее отец Джемини Ганешан, более известный под сценическим псевдонимом Шиваджи, звезда первой величины в кинематографе на языке тамили, и мать Пушпавали, тоже довольно известная актриса, развелись сразу после рождения девочки. Рекха вместе с братьями и сестрами осталась у матери. Девочка росла, по сути дела, в павильонах мадрасских киностудий, где часто могла наблюдать, как уставала ее «любимая мамочка Пушпи», работая там с утра до вечера. Позднее Рекха будет говорить, что мечтала быть стюардессой, путешествовать по свету, встречаться с интересными людьми, а не сниматься в кино, так как видела, какой это изнурительный труд. Но судьба распорядилась иначе, и в феврале 1969 года девочка исполнила свою первую роль. «С тех пор началась работа, — говорила она, — работа без передышки».

Через год юная актриса отправилась в Бомбей, этот индийский Голливуд, где почти сразу снялась в фильме «Время любить», в роли деревенской фурии. Девушка была склонна к полноте, да и язык, отличный от того, на котором говорят в ее родном штате Тамилнад, давался с трудом, но тем не менее Бханурекху заметили, и предложения сниматься посыпались со всех сторон. Работа приносила ей удовольствие, так как она освобождала юное дарование от учебы, прежде всего от математики. Алгебру Рекха ненавидела больше всего.

Девочка росла непослушной и живой в общении. В день своего двадцатилетия она вышла к гостям одетой в свадебное сари, с синдуром в волосах и мангалсутрой на шее. «Я никогда с ним не расстанусь, — заявила она и, глубоко вздохнув, добавила: — Да, замужество — это действительно счастье!» На какое-то время воцарилось молчание, как вдруг тишину разорвал громкий смех Пракаша Мехры — известного кинорежиссера, который не единожды снимал Рекху. Он узнал сцену из своего последнего фильма, где девушка играла главную роль. Именно этот эпизод снимали накануне.

Рекха все быстрее поднималась на Олимп кинематографа. В 1981 году она обратилась к «параллельному кино», снявшись в картине Шьяма Бенегала «Век Кали», которая была представлена на Международном кинофестивале в Москве. Многих удивило, что Бенегал пригласил на главную роль актрису коммерческого кино. Он объяснил свой выбор так: «Я пригласил Рекху потому, что увидел в ней очень способную актрису. У нее чрезвычайно высокий диапазон возможностей. На площадке она неизменно собрана, предельно восприимчива к тому, что от нее требуют, умеет вносить в работу великое множество деталей. Это прекрасно!»

В 1982 году за исполнение главной роли в фильме «Дорогая Умра» Рекха была названа лучшей актрисой года и удостоена премии «Золотой лотос».

В общении актриса очень разная. Она обожает поклонников, не чурается их общества. Говорят, каждый день в

ее адрес приходит до 500 писем от читателей из различных уголков Индии и даже из-за рубежа. К друзьям же Рекха относится с большой требовательностью. Иногда ее обвиняют в холодности и необщительности. «Я не такая, — возражает Рекха, — просто я предпочитаю общаться только с теми, кто мне нравится. Только с ними я откровенная настолько, насколько могу себе это позволить».

В Индии, да и не только, Рекху считают эталоном индийской женщины. Да, она обаятельна, женственна, красива, но чего стоит это актрисе! Из-за лишнего килограмма веса Рекха впадает в ипохондрию. Она обожает зеркала, но не потому, что они отражают ее совершенство, а потому, что постоянно и требовательно заставляют заботиться о своей внешности.

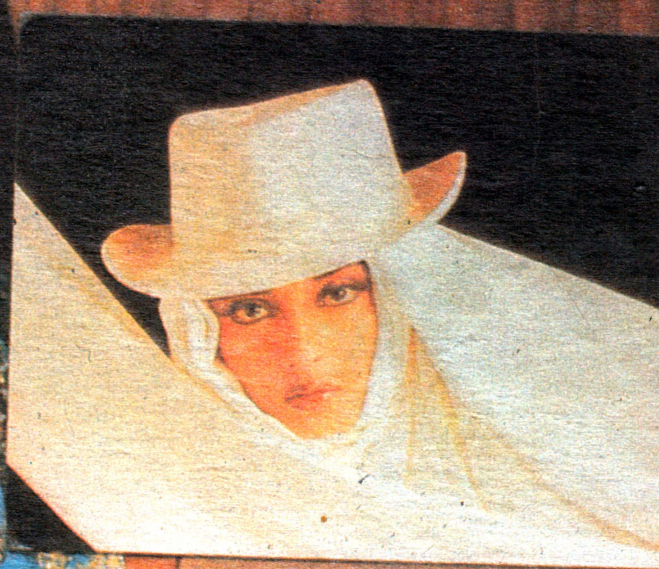
Личная жизнь Рекхи окутана тайной. Журналисты индийских киноизданий не устают строить догадки по этому поводу. Актриса привыкла к тому, что, открывая очередную номер, обязательно находит о себе новую небылицу. И чего там только нет! Пылкий роман с Джитендрой, неравной, но взаимное чувство к Санджану Датту, тайный брак с Амитабхом Баччаном, взаимная неприязнь Рекхи и Зинат Аман, отверженная любовь Раджа Баббара, этой жестокой женщиной вамп... И еще многое-многое другое, на что актриса поначалу реагировала крайне болезненно, но со временем поняла, что такие «сведения» будут появляться в печати, покуда она популярна. Сейчас каждый такой опус воспринимает с улыбкой.

Ну, а если серьезно, то по имеющейся у нас информации Рекха имеет ребенка, собаку, верит в Бога, обожает игру американского актера Роберта Ниро, в мужчине на первое место ставит силу и ум, а не красоту и... она не замужем.

Ничто не вечно под луной, и в один прекрасный день, а именно 4 марта 1990 года завеса над личной жизнью актрисы приоткрылась настолько, чтобы узнать, что Рекха именно в этот день стала женой Мукеша Агарвала. Мукешу 36 лет, он крупный бизнесмен и страстный поклонник Рекхи. Познакомились они на Бомбейском кинофестивале. Кажется, новоиспеченные супруги были безмерно счастливы, но, увы, через несколько месяцев по неизвестной причине брак оказался расторгнут.

И Рекха опять осталась одна, загадочная и прекрасная, как и всегда... Довольно часто она смотрит «Праздество» — фильм, снятый Гиришем Карнадой. Там Бханурекха сыграла роль Васантасены — танцовщицы и гетеры. Эту работу актриса считает лучшей. Под этот фильм она размышляет о настоящем, вспоминает прошлое и мечтает о времени, когда в ее жизни появится сильный мужчина — как это бывает в кино...

P. S. По самым последним данным журнала «Cineblitz» у Рекхи появилась-таки мужчина ее мечты. Это некто Раджа Хара, 34-летний удачливый бизнесмен и щедрый покровитель. Рекха тщательно пыталась скрыть свою связь, но после того, как их видели вместе в фешенебельной гостинице «Тадж», это перестало быть тайной...





Журнал «Уральский СЛЕДОПЫТ» сохранил и увеличил тираж в 1993 году.

Популярен он на территории России и в странах ближнего зарубежья. Любовь читателей основана на полифоничности журнала, его ориентации на семейное чтение.

«Уральский СЛЕДОПЫТ» читает вся семья.

Редакция предлагает всем заинтересованным лицам разместить рекламу на страницах нашего журнала.

Стоимость 1 квадратного сантиметра цветной страницы — 800 рублей, черно-белой — 400 рублей.

По желанию рекламодателей редакция может разработать рекламную концепцию и художественное оформление.

Наши телефоны:

(3432) 224-501, 223-662.